

**Г. МОРДЕЛЬ**



**красный флаг  
над ТЮРЬМОЙ**

**ГЕОРГ МОРДЕЛЬ**

**КРАСНЫЙ ФЛАГ НАД ТЮРЬМОЙ**

Издание автора    Холон, 1985

Перепечатка русского текста  
разрешена при условии, что ука-  
зывается имя автора. Перевод  
на другие языки — только с  
согласия автора.

Михморет октябрь-ноябрь 1972



Станция Разуваево горела. Белый вокзал гудел, как печка, из открытой двери вырывался дым с огнем. Полыхало дерево за уборной, сыпал, разваливаясь, искрами большой сарай в конце перрона.

Эшелон медленно втягивался на станционные пути. Миша Комрат видел во всех подробностях пожар вокзала: дерево, точно факел, скелет сарая. А когда поезд встал и прекратился скрип старых вагонов, перед открытой дверью теплушки оказался пустырь, за ним огороды, а дальше, за желтой дорогой — взгорок и на нем четыре танка с короткими хоботами пушек. Танки поводили пушками, и время от времени из стволов вырывалось пламя и раздавался бухающий звук, похожий на буханье дизельного копра, который забивал сваи в набережную Даугавы.

Миша лежал на втором ярусе нар, боясь пошевелиться, сломанная рука тихо ныла. Он прижимал ее к груди, как спеленатого младенца, боясь разбудить. Боль жила в глубине кости, таилась там, точно паук.

А мимо вагона торопились люди,плыли головы, косынки. Надсадный тенор погонял жену:

— Давай, давай, немцы же, немцы!

На той половине вагона нервно переминались лошади. Две были рыжие, без пятен, третья, она стояла у прохода, ближе к Мише, — третья была черная в белых яблоках. Она поднимала голову и все смотрела на человека, который мог снять с нее страх и этого не делал.

Миша закрыл глаза, переместился на нарах так, чтобы ноги свесились, набрал побольше воздуха в легкие и с тихим стоном оттолкнулся. Он еще успел немного согнуть колени, смягчил удар; боль навалилась на него чугунной тяжестью, и он упал, теряя сознание.

Когда Миша очнулся, вокруг стояла тишина, танки и люди ушли из поля зрения. Черная лошадь теперь возвышалась над его головой, отжимала круп, чтоб не задеть человека.

— Ничего! — сказал Миша. — Ничего, как-нибудь...

Он слизнул слезу со своей щеки, пошарил вокруг себя, потянул пучок соломы, подал лошади. Она стояла на соломе, но взяла Мишин пучок, потянула мягкими губами.

— Выпустить вас надо! — сказал Миша. Только, что я могу сделать?

Даже если бы он был здоровый, ничего не получилось бы, потому что Миша понятия не имел, как спускают лошадей с вагонов. Красноармейцы, приставленные к лошадям, выпрыгнули на ходу, еще до въездного семафора... Мише было стыдно, что он, человек, ничем помочь не может животным и что он намеревается бросить их тут, спасая себя. Но Миша не мог позволить немцам схватить себя в вагоне, да еще лежащего. Он не мог объяснить словами, почему, но немцы не должны были застать его на нарах: если уж умирать, так не здесь... И он еще раз превозмог себя, свою боль, свой страх перед болью и снова придвинулся к краю вагона, свесил ноги и оттолкнулся. Боль полоснула по сердцу, согнула пополам, заставила прижаться животом к коленям. И пока Миша сидел на корточках возле вагона, задыхаясь криком, который не хотел уместиться в нем, позади него раздались шаги, и показался человек, точно пьяный шагающий врасык по шпалам. Был он в синем коверкотовом костюме в легкую клеточку и нес толстый желтый портфель над головой, прикрывая голову, точно в дождь.

Он прошел мимо Миши, зацепился плетеной туфлей за шпалу и упал. Очки его в тонкой золотой оправе сорвались и легли на щебень. Миша проглотил крик и сказал:

— Здесь! Ой, здесь ваши очки! Да совсем прямо!

Но человек не слышал, все шарил и шарил сбоку да на рельсах.

Миша узнал этого человека. Летом 1940 года, когда он — Миша Комрат — был комиссаром на фабрике Флейшмана, товарищ Озолинъ приезжал к ним выступать на митинге, призывал рабочих вступать в МОПР — международную организацию помощи революционерам. И еще раз, когда Миша уже не был комиссаром, а только начальником цеха, товарищ Озолинъ приезжал к ним собирать дополнительные взносы, и Миша пожертвовал свой месячный оклад.

В те странные дни Миша был постоянно счастлив, как во сне; в Латвию пришла Советская власть, власть трудящихся, где все люди, если они работают, равны и окрылены. Деньги были для Миши обречены, еще немного, и всякое обладание деньгами, всякими богатствами станет бессмысленным. Но даже если бы он знал тогда то, что узнал спустя несколько месяцев: что командиры Красной Армии отправляют своим женам по шесть и десять пар обуви, сворованной на складах, что партийные деятели захватывают квартиры проклятых буржуев со всей мебелью и кастрюлями, узнал, как советские жадны, потому что нищи, и как они благоволят ко всякому богатству, даже при всем этом Миша не пожалел бы месячного оклада для МОПРа. Миша был на свободе, гражданин самого прекрасного в мире союза счастливых народов, распевавших "Интернационал", а бедные революционеры томились в застенках у капиталистов.

И в тот июльский день, встретив на рельсах товарища Озолиня, Миша еще ничего не знал о страшной правде МОПРа. Потребовалась вся война и много лет потом, встречи с выпившими отставными надзирателями сталинских лагерей, испуганные шепотки бывших узников Магадана и Беломорканала, чтобы Миша понял, как предавали узников, которым он стремился помочь.

Сталин выдавал Гитлеру борцов Испании, чтобы они не

установили в СССР коммунистическую демократию. Исполком МОПРа отдавал собранные деньги провокаторам, которые наводили на следы выдающихся борцов рабочего класса полицию Франции и гестапо. Сталин не мог делить звание вождя всех пролетариев с кем-то еще... Миша и тысячи Миш отдавали свои деньги организации, призванной выводить из застенков бедных революционеров, Советский Союз — отец духовный коммунистического движения, расправлялся с лидерами зарубежных партий трудового народа. В Москве умертвили Куна, Радека, Рудзутака...

В 1941 году Миша Комрат не знал этих имен, да если бы и знал, какое они имели отношение к товарищу Озолиню?

— Здравствуйте, — сказал Миша. — Вы меня помните, товарищ Озолинь? Сейчас, сейчас я помогу вам...

Он дотянулся до очков, подал их. Но Озолинь очки не взял, а так и не снимая с головы портфель, продолжал левой рукой обшаривать рельсы и шпалы.

— Но вот же ваши очки! — сказал Миша. — Вот же!

Он чуть что не вложил их в руку Озолиню, едва справляясь с собственным телом, налитым болью. И тогда Озолинь как-то бочком, капризно и настойчиво, начал подставлять переносицу, пока Миша не передвинулся и водрузил очки на место.

— Здравствуйте! — еще раз сказал Миша. — Я вас помню. Вы приезжали к нам на фабрику Флейшмана.

Озолинь и теперь не показал, что слышит, встал и принялся уходить. Шел он близоруко и неуклюже, ставил ногу то на шпалу, то мимо, отчего подпрыгивал и качался.

— Пожалуйста, я покажу вам, — попросил Миша. — Чтобы не падать, надо ногу ставить только на дерево. Я работал на железной дороге, я ходил туда и домой по шпалам.

Он подошел к Озолиню и помог ему под ручку. Он вел грузного, с одышкой, малознакомого человека, который даже и не желал припомнить, кто такой ведет его, но Мише в голову не приходило, что он может бросить Озолиня, обогнать и уйти. Миша Комрат был воспитан на Торе и морали реб Нахмана и не мог оставить человека в беде, кем бы тот ни был.

Так они и шли: Озолинь впереди, Миша за ним, прижимая боль свою к груди, шагая боком, чтобы не потревожить

впереди идущего, шли и пришли к речке. А над речкой был железный мост, шпалы и рельсы над водой, блестящей метрах в десяти внизу. Озолин, как увидел воду, встал и заледенел.

— Но это же не страшно! — сказал Миша, впадая в тон няни, уговаривающей капризного ребенка. — Не надо только смотреть вниз, только не смотреть вниз!

Но Озолин смотрел. Пришлось взять его под руку и подтолкнуть, и повести. А он упирался, толстым своим телом выгибался назад, так что недолго было им свалиться, ухнуть меж рельсами насмерть. Миша был так поглощен борьбой с Озолиным, а тот страхом своим, что оба не замечали ничего впереди.

А на том берегу речки, между прибрежными кустами и березняком на взгорке, на мягкой зелени луга стоял квадрат людей — все пассажиры эшелона, а вокруг них немцы. Один, с каской на ремешке, с закатанными рукавами и погонами с белыми кантами, долго смотрел, как Миша ведет Озолина, а потом не выдержал и закричал:

— Los, los!

Озолин вздрогнул, как бы столкнулся с невидимой преградой, взвизгнул и даже будто с охотой, радостно даже как будто побежал, все так же прикрывая голову портфелем и помахивая свободной рукой, то ли для разгона, то ли в знак приветствия. Он подбежал к толпе, построенной в шеренги, и сам встал в ряд, оттеснив кого-то вглубь колонны. Немец легонько толкнул Мишу автоматом в спину и поставил около Озолина, а рядом оказались те три красноармейца, что спрыгнули из вагона перед семафором.

— Корошью! — сказал немец, носком сапога выравнивая носки красноармейцев. — Очень корошью.

Был он не страшен, по-человечески разморен жарой; и другие немцы ничего страшного не делали: стояли себе по три и о чем-то разговаривали, вроде и не обращая внимания на пленных.

— Juden — сказал тот, что командовал. — Kommissaren und Kommunisten raus! — и сам себя перевел: жида, комиссаре и коммунисти — выходить!

Никто не отозвался из толпы. Немец решил, что распорядил-

ся плохо. Он провел ногой по траве, словно черту чертил, шагнул на нее, повернулся лицом к колонне. Повторил свои движения, встал опять перед людьми:

— Жида, комиссаре, коммунисти — выходи!

Один из красноармейцев, смущенно улыбаясь и понурясь, вышел и занял место за чертой. За ним вышли старик и его старуха. Оба были малого роста, в черных бурнусах, при всей жаре, оба носатые и нищие, в заплатах, и при них старый деревянный чемоданишко.

— Alle? — спросил немец.

И тогда товарищ Озолинь поднял ногу и остро ударил Мишу под колено. От неожиданности Миша вылетел далеко вперед, споткнулся, но успел согнуть ногу и задержался на одном колене, словно перед знаменем, не зная, куда пристроить руку, объятую пламенем.

— Ein Jude! — объяснил Озолинь. — Er ist Jude! — а для не понимающих по-немецки перевел:

— Жид! Скрываться захотел!

Немец медленно приблизился к Мише, вскинул автомат и выстрелил.

## 2

Миша Комрат проснулся от боли в сердце, понял, что у него снова приступ, и поэтому он снова видел сон о станции Разуваево, и что надо встать, взять в аптечке валидол; но он боялся разбудить Хану. В последнее время она засыпала с большим трудом, и если просыпались среди ночи, то мучилась до утра.

Миша осторожно приподнялся на подушке, старался дышать ровно, глубоко, думать о постороннем, отвлечься. Вот в окне видна покатая крыша дома напротив, а в крыше окно мансарды — полукруг света в черном. А над мансардой, в бесконечном небе воспаленно горят шесть сигнальных огней — фонари на железной мачте станции радиоглушения. Ни в одной мирной стране нет радиоглушения. Демократические государства даже в войну не считают себя вправе мешать своим гражданам слушать вражеские передачи; демократические государства не

боятся, что население может услышать нечто такое, что двинет его опрокидывать режим. Большевики боятся иностранной правды, потому что она сильнее их собственной лжи, но вместе с тем они не боятся, что народ спросит себя: если мы — граждане великого советского государства, самые счастливые, самые свободные в мире, а наша конституция — самая демократическая в мире, то что такое могут сообщить заграничные радиостанции, что это надо заглушать?

— Чудовищная страна! Запутанная страна! — должен был он сказать себе. — Живу под большевиками тридцать два года и все спрашиваю: на чем они держатся?

Миша знал крышу напротив, свет в мансарде и эти шесть "лампочек Ильича" как собственную комнату — 14,68 квадратных метра. Знал до боли, до отвращения.

В мансарде жил художник, карикатурист, может быть не самый талантливый в Риге, но один из самых смелых. Еще повсюду в редакциях царил глубокий классицизм страха, карикатуры изображали людей со всеми пуговицами и дырочками в пуговицах, а Илмар Кокарс начал рисовать условными штрихами, страшно сказать — без ноздрей и ресниц, без ретуши и выражения патриотического счастья на лицах высмеиваемых. "Советская Латвия" и "Циня", разумеется, ничего подобного на свои страницы не допускали, а вечерняя сплетница "Ригас Балсс" дала маху. Газета была еще новая, в диковинку (подумать только — вечерняя газета, почти, как на Западе!), редактор искал популярности. "Ригас Балсс" напечатала карикатуру Кокарса, публика потребовала еще и еще.

В 1960 году, кажется, в июле, накануне празднования Дня восстановления Советской власти в Латвии, в Доме культуры профсоюзов был "Огонек"; Мишу, как рабочего корреспондента, билетом снабдила "Зорька". В зале бывшей Малой купеческой гильдии, где на потолке до сих пор сияли золотом и пурпуром гербы рижских ремесленников, где в окнах сохранились витражи со сценами из рыцарских времен, стояли столики, на столиках по бутылке минеральной, кофе, печенье. Публику знакомили с лучшим стахановцем, то бишь передовиком социалистического соревнования, каким-то несчастным токарем, который не был нужен публике так же, как ему все

это выступление (но какой же "Огонек" с одними артистами или поэтами — безыдейный "Огонек"!), и еще, само собой (чтобы не порывать ленинских связей между селом и городом, между рабочим классом и сельскими труженниками), была приглашена доярка. Бабка попалась яркая, с острейшим языком, начала с похвал "историческим решениям" партии, а кончила рассказом, как на село приехали студенты помогать в прополке овощей и выдернули вместо сорняков морковку. Ведущий еле оборвал рассказ — он выбивался из стиля, люди смеялись, а должны были "проникновенно думать о величии задач, поставленных партией", так значилось в сценарии "Огонька". Миша видел сценарий, он лежал перед ним на столике, и тут же рядом сидел автор сценария — поэт Португалов. В общем-то, он был свойский парень, любитель коньяка и женщин, но, к сожалению, не талант. Португалов сочинял "выгодные" куплеты для артистов цирка, писал либретто "елочек", стихи, рассказы — все одинаково бездарно.

А потом говорил Бирон — заместитель председателя Латвийского общества культурных связей с заграницей. Бирон был умен, он не впадал в ярость и не клеймил капитализм, а обстоятельно рассказал, как один американский турист, узнав, что его самолет из Риги в Стокгольм вылетит в субботу, наотрез отказался подниматься на борт. Он уплатил сто долларов, но остался сидеть в аэропорту, соблюдая еврейские обычаи. "Евреи США — богаты!"

...И еще случай был рассказан: приехал в Ригу некто по паспорту перуанец, якобы не знавший русского языка, а его обнаружили на квартире у одной баптистки. Баптистка лежала больная, перуанец же был агентом латышских баптистов-эмигрантов и тут же принес крупные деньги, чтобы все другие баптисты увидели: советская власть не помогает больным, а зарубежные братья — помогают. "Между прочим, — сказал Бирон, — баптисты и евреи действительно сильно помогают своим, попавшим в беду; мы проглядим, а они знают, где можно собрать деньги и кому надо дать. Дадут одному, а десять узнают об этом"...

Бирона ведущий слушал, склонив голову. Бирон был представителем особой касты, доверенной, избранной, облаченной

властью соприкасаться с иностранцами; он сидел тут на "Огоньке", как верно сидел бы где-нибудь в США или Франции мультимиллионер среди бездомных...

После Бирона на сцену поднялся Кокарс, сдернул чехол с классной доски, поставленной на козлы. На доске белел лист ватмана. Кокарс взял уголек и быстро нарисовал дерево, пьяницу у дерева, пьяница сверлил телеграфный столб штопором, спутав столб с березкой, и ждал, когда же потечет сок...

— Илмар Кокарс! Наш рижский Бидstrup! — торжественно объявил ведущий, вычитав по бумажке трудное слово "Бидstrup".

Великая честь была оказана Илмару — сравнили его с датским карикатуристом, любимцем советских властей, почетным гостем Москвы и Хрущева лично. Обнадеженный Кокарс подал заявление в Союз журналистов. Судьба устроила так, что Миша был на этом заседании. После университета он начал работать учителем в вечерней школе, написал в "Зорьку" о своем классе. О взрослых усталых людях, которые после восьми часов трудового дня находят силы придти в восьмой и десятый класс, наверстывать упущенное в войну. Статья понравилась, редактор попросил писать еще. Миша стал рабочим корреспондентом "Зорьки". Так и пошло. В 1960 году был создан Союз Советских журналистов, Хрущев пожелал, чтобы в него принимали не одних профессионалов, а как можно больше "простых советских людей", которые знают жизнь "лучше многих писак" и будут "зорким оком советской демократии".

То было время Великого Поворота к Народу. Хрущев пил тосты за Его Величество Рабочий Класс, комитет Государственного контроля был переименован в Комитет Народного контроля, бригады содействия милиции стали Добровольными Народными дружинами, и даже профессиональные театры сокращали, отдавая бюджет и помещения театрам Народным. Редактор "Зорьки" был обязан доложить в райком, сколько людей из народа он ввел в журналистику. Миша Комрат был Человеком из Народа, Мишу рекомендовали к вступлению в Союз журналистов.

Он пришел рано (Миша всегда загодя приходил в кино, в гости и на вокзал, что злило Хану, имевшую обыкновение

всюду являться в последнюю минуту). Миша пришел рано, правление Союза журналистов Латвии еще не собралось, надо было ждать в зале, перед дверью секретариата. В зале стояло 12 белых стульев, обитых гобеленом, и столько же черных, с резными ножками, и когда Миша увидел эти стулья, черные и белые, щемящее чувство злого смеха над самим собой овладело им. Ровно 31 год тому назад, летом 1941, незадолго до войны, он — Миша Комрат — собственной рукой подписал акт о национализации этих стульев и сам помогал вынести их из квартиры Флейшмана, чтоб передать Народу. Моше Флейшман прошел Дахау и уже давно живет в Филадельфии, где стал лидером крупного профсоюза, а Миша Комрат готовился получать членскую книжку организации, для того и созданной, чтоб одурачивать Народ, которому не положено знать, как глубоко его закопали в дерьме. Миша мог встать и уйти и никогда больше не входить ни в одну редакцию. Но шел всего лишь 1960 год, СССР был заперт тяжким, заржавевшим замком, казалось до конца дней придется жить в этой стране, кормить семью... А за статью платили иногда целых 25 рублей — четвертую часть месячной зарплаты учителя.

Миша все еще сидел в зале, когда собрались члены правления и вызвали Кокарса. Редактор вечерки Димитреев представил художника, сказал: "Товарищ Кокарс у нас очень активен. Если позволить, сож-же-рет весь бю-бю-джет"...

Иверт, тогда специальный корреспондент "Правды" в Латвии, резко отозвался:

— Слышали. И видели. Вы допустили ошибку, товарищ Димитреев. Это не наши рисунки. Так рисуют на Западе.

Димитреев поспешно засыпал словами:

— Мы уж-же говорили, мы уж-же д-дали указание не печатать. Пускай науч-чится уважать советского чел-овека...

Задвигал квадратной челюстью Салеев — бог, царь и судья газеты "Советская Латвия":

— Ишь, сорвались! Ничего святого нет!

Иверт скривил крысиные свои губы, зашевелился тонкий, шилом, нос:

— Ничего! Мы научим веровать и молиться!

Но — просчитались. Не в жилу действовали, как выражался тогдашний редактор "Зорьки". Через неделю в Ригу пожаловал гость из ЦК партии, читал доклад о задачах печати в свете исторических решений КПСС. Он похвалил нескольких латвийских газетчиков, а о Кокарсе сказал: "Меткий солдат партии, умело поражающий оружием сатиры все, что нам мешает двигаться к коммунизму".

О том, чтоб больше не печатать карикатуры Илмара, речи быть уже не могло. Но не такие люди Иверт и Салеев, чтоб забывать обиды. Самый популярный в те времена художник города с миллионным населением так и остался без членства в Союзе журналистов.

— Сумасшедшая, гнусная страна! — говорил себе Миша, глядя сейчас, как светится окно мансарды. — Хрущев был клоуном на престоле, стучал туфлей по столу в зале заседаний ООН, крыл иранского шаха матом, публично, перед ста тысячами москвичей, но он был талантом. Надо быть великим талантом, чтобы оставить пшеничную Россию без хлеба. Хрущев это сделал, и все в стране заговорили о "Русском чуде", потому что как раз в тот год на экранах шел широко разрекламированный фильм немцев Торндайков — "Русское чудо". Россия сидела без хлеба и покатывалась со смеху над фильмом, где поля колосились стозерновыми колосьями. Но надо отдать Хрущеву должное: он расшевелил муравейник. При нем пошли догонять Америку, начали кричать о научной организации труда, в магазинах красили стены в разные цвета и делали Доски почета кривыми, как зеркала мадам Помпадур. А "Крокодил" взял да и поместил рисунок — купальщицу в бикини! И все увидели, что наступили времена неслыханной смелости — почти, как на Западе.

Прошло только десять лет, сегодняшним газетчикам смелость Кокарса кажется чем-то, чуть ли не врожденным в быт, как телевидение и смывные туалеты, сегодня в Риге есть дюжина таких же сильных карикатуристов, но они уже учились новому в академии, а он не перенес потерю славы. Как многие в этой стране, столкнувшиеся с чугунной тупостью бюрократии, Кокарс запил. Неделями валялся у чужих людей, жил на

содержании у женщин, иногда забредал в редакцию, приставал к знакомым и чужим:

— Дай три рубля!

Но бывали дни, когда вновь прорывался в нем художник, и тогда горел по ночам свет в мансарде, появлялись в газетах новые карикатуры, которые легко было узнать издавека.

Каждый раз, когда Миша Комрат видел свет в мансарде и шесть волчих глаз станции радиоглушения, сладкое чувство мести затопляло сердце. Все, что правительство пыталось заглушить, вещало о себе в любом рисунке Кокарса. Бездельничающие чинодралы, ленивые управдомы, ворующие извести и гвозди, холодильники, в которых можно греть, и утюги, пригодные разве, чтоб прикладывать их к синякам, новые дома, еще до сдачи требующие капитального ремонта, — все это в конечном счете и был советский образ жизни. Гражданам СССР полагалось верить, что их жизнь — вершина счастья, тот правильный путь, ради которого совершилась революция и было пролито море крови. Западное радио разрушало это убеждение. Западное радио глушили, но нельзя было заглушить юмор и сатиру в собственных газетах, призванных "оружием смеха убивать помехи". Тысячи карикатуристов, фельетонистов и репортеров день за днем обрушивали на советского читателя все новые и новые факты о бюрократах и бракоделах, суде несправедном и взяточных чиновниках. Хрущев пытался пресечь критику и самокритику, "Вы бьете по своим!", но едва в газетах появились сообщения о черных днях сатиры, страну захлестнула такая волна гадостей, что ЦК сочло нужным миллионными тиражами расклеить плакаты со стихом Маяковского: "Нужно, чтоб в лоб, а не пяясь, критика дрянь косила, и это лучшее из доказательств нашей чистоты и силы". Партия не могла убивать лучшее доказательство своей чистоты и силы.

Печать десятилетиями "била" по "дряни", народ постепенно приходил к мысли, что дрянь — это и есть непреодолимое в советской жизни, и все острее становилось желание спросить себя: "Да полноте, может быть мы имеем дело не с трудностями роста, а с ростом трудностей?"

— Если я когда-нибудь уеду отсюда, — слабо улыбался Миша, — если я уеду и попытаюсь написать книгу о советской жизни, нехудожественная получится книга. Слишком много будет в ней быта, слишком много смеха сквозь слезы и спрессованной ненависти... Но кто может жить в этой стране и оставаться олимпийцем?

Каждую ночь, когда он видел фонари станции радиоглушения, он спрашивал себя, отчего ООН не требует прекратить радиопиратство, почему западные страны не заглушают в отместку Москву, разве они не знают еще, что эта страна понимает только язык силы и только перед силой лебезит? А может быть Запад нарочно молчит, зная, как сильно радиоглушение бьет по самим глушителям? Даже если бы не было газет и журналов с бесконечными фельетонами о взяточниках и головотях, советский человек должен был бы усомниться в слове большевистской правды только из-за радиоглушения. Глушение распаляло воображение, а запад работал на стольких языках и диапазонах, что заглушить все было невозможно, даже имея миллиарды КГБ. И нельзя же было глушить Англию на английском, Германию на немецком. К тому же постоянно появлялась необходимость поклониться то Вилли Брандту, и тогда не глушили "Немецкую волну", то Никсону, и тогда можно было слушать "Голос Америки". А кто слушал раз, да знал, что этот раз может быть последним, тот норовил повторить, а повторяя, попадал в глушение, слушал только обрывки, и ему казалось, что главное-то он не услышал, что там, по ту сторону, знают гораздо больше, что правда, которую советский человек видит вокруг себя — еще не вся правда, и желание его знать правду целиком росло.

Каждый день по вечерам тысячи советских людей прилипают к транзисторам в надежде утолить свой голод информации и, чем больше глушат Запад, тем больше голодных пытаются его услышать...

И уж совсем шальная мысль закрадывалась иногда в голову: а может быть в Москве, в каком-то тайном-претайном учреждении сидит хитрый и умный враг теперешних правителей и подзуживает их глушить, глушить, глушить проклятый Запад?!

А потом было утро и кричал будильник. Миша слышал его натужный звон, хриплый и злой, как Стефанида, когда она говорит об евреях, но этот звон не имел отношения к нему. Миша Комрат был далеко отсюда, он сидел на улице за столиком кафе, а внизу было небо и дорога между холмами; сквозь зелень деревьев проглядывали золотой и серебряный купола, а над ними, на другом холме, светила на солнце четырехугольная башня. Миша знал — это Иерусалим, потому что видел купола и колокольню в кино, в каком-то видовом фильме. То было очень давно, еще в те времена, когда он жил в Советском Союзе. Они пошли с Ханой в старый "Спартак" на улице Кирова, рядом с кинотеатром "Рига", закрытым на ремонт, смотрели фильм про Иерусалим, а какая-то латышка с удивлением говорила мужу:

— Ты видишь, Янка, видишь? Какая красота, и это все принадлежит жидам?!

Миша помнил, как называется золотой купол, как серебряный, но забыл название колокольни, он хотел спросить Бориса Кларенса, но Борис углубился в газету. Был он не такой, каким уехал в Израиль, а молодой, черноволосый, да и Миша был лет на двадцать моложе, и сердце у него совсем не болело.

— Хм, — сказал Борис, — а в Париже цены на кофе опять падают!

— Господи! — подумал Миша. — Париж, Мадрид, весь мир — это же совсем рядом, я на свободе, на свободе! Моя дочь на свободе! — и счастье, огромное, свежее, как летняя волна, накатило и обдало прохладой. Вокруг был Израиль, Родина, до самого горизонта, где еле проглядывал краешек Мертвого моря. И не было вокруг, сколько не кричи, ни одного райкома, ни одного цензора, никаких стукачей.

Но пришлось открыть глаза и увидеть все ту же комнату — 14,68 квадратных метра, раскладное кресло Тамары, стол, на котором разложена одежда, печку в углу и клетку с зеленушками на печке. Птицы сидели на клетке, свешивали головы, искали корм. Миша еще раз оглядел свои четыре стены: синюю, красную и две желтых, еще раз вспомнил,

что одна из стен — и не стена, а фанерная перегородка, за которой уже ворочалась и сморкалась Стефанида.

Он одел брюки, вышел на кухню. В ванной старуха гремела железом. Ей было 82 года, но она всем говорила, что только 75. Даже на могиле мужа, на памятнике с его фотографией и датами, поместила свою фотографию и написала дату рождения на семь лет вперед, чтоб люди не смеялись, что вышла за "младшего себя". А руки были у нее уже дырявые: кастрюли, ножи, вилки — все валялось. На газе чадило сало с луком. Грижани целыми днями ели сало с луком; Мише казалось, что если Бог позволит прожить ему еще 120 лет, то столько же он будет помнить запах сала с луком.

— Горит! — сказал Миша. — Сало у вас горит.

Старуха выронила полотенце, вышла из ванной, засеменила к плите, трудно переставляя отекающие ноги. Она еще не вставила зубы, лицо ее было похоже на отыгравший мяч.

Миша вошел в ванную, отодвинул доску с кастрюлями, равнодушно скользнул взглядом по черным, липким стенам и, стараясь не прикоснуться к ним, открыл кран, подставил ладони. Грижани жили на этой квартире 18 лет, 18 лет ванная служила у них судомойкой. Можно было смеяться, злиться, вызывать комиссии домоуправления, лезть в петлю — Грижани продолжали мыть в ванной посуду. Теперь у них появилась Танечка, они сажали ребенка пись-пись над ванной.

Хана переживала, мылась на кухне под кривым краном, в заплесневелом углу, а Миша давно махнул рукой на своих хохлов со всей их жизнью. Ему было легче: четырнадцать лет казармы и общежитий закалили.

Он умылся, поставил на газ чайник: сдерживая утреннее, ежедневное раздражение, привычное, как собственная борода, поглядывал на дверь. Тамара опаздывала, снова попадала в очередь к ванной и снова будет галопом нестись в школу, с непрожеванным завтраком и громыхающим портфелем.

Кухня уже наполнилась. В ванную вплыла Матрена, которую по паспорту звали Еленой, а за глаза Язвой желудка. Вплыла, тяжело неся на спичечных ножках больной, сорокаведерный живот. Жидкие волосенки на круглой голове без шеи собраны в пучок на затылке, пучок, как луковка, схва-

чен зеленой тесемкой. Матрена в ванной плюется, харкает, отфыркивает воду.

У дверей ванной торчит Степанида, всем домом величаемая Стефагнидой. Голова в папильотках, злобные губы — ниточкой; синее, девственное тело завернуто в стеганый халат с меховым воротником. Халат ей ни к чему — на кухне палят вовсю газовые духовки, греются, хотя это запрещено, но Стефа должна уколоть Хану или Мишу: нате, жида проклятые, какой у меня халат! Да и Матрене сейчас на кухне делать нечего, она работает во вторую смену, знает, что по утрам каждый лишний на кухне — это лишняя очередь, но как же, Матрена обязана выплыть и стоять в проходе, занимать ванную, чтобы никто не чувствовал себя вольным жить без ее неусыпного надзора.

А вот и муж Матрены — шлепает в уборную. На лысой голове у него марлевая косынка (чтоб не стучали виски от повышенного давления), беременный живот стиснут корсажем (чтоб не разошлись швы после операции).

Был Гаврюха раненый, контуженый, битый по партийной линии, жалеть бы его, а надо презирать: Гаврюха воровал по мелочи, гадил и писал доносы.

Слава Богу, наконец-то из комнаты вышла Тамара, встала в очередь за Стефой. Узкая спина тут же по-кошачьи выгнулась от ненависти к жидовке. А тем временем явилась и мадам, на голове шапочка из шелка не резинке, халатик шелковый, глянцевые ножки в шелковых шароварах. Встала за Тамарой и писклявым своим голосом примерной пионерки пожаловалась:

— Боженьки, как я хочу спать!

Стефа выскочила из очереди. Рот ее раскрылся кошельком, простуженный навечно голос елеинно пригласил:

— Иди, иди, Варенька! Там твоя мама.

— Но ваша ведь очередь! — жеманилась Варвара.

— Нет, нет, я подожду, я не спешу! — лебезила Стефанида.

Она пропустила бы и роту солдат, лишь бы навредить евреям.

— Будьте вы трижды прокляты! — мысленно сказал Ми-

ша. — Будьте вы трижды прокляты Брежнев, Косыгин и компания за нашу эту жизнь, за коммунальные квартиры, безысходные, как еврейское горе, за наши гадкие, мелочные обиды! На что у нас уходят дни и годы?!

Он не любил Грижаней, спокойно задушил бы Стефаниду, но в то же время понимал, что при других условиях, в другой жизни — нормальной, обеспеченной, живи они каждый сам по себе, в своей отдельной квартире, они могли быть совсем другими.

Но Кремлевские правители не давали народу нормальную и обеспеченную жизнь, потому что только в постоянно нагнетаемом идеологическом угаре, под постоянный крик о необходимости терпеть и смиряться, дабы противостоять капиталистам, большевистская верхушка могла править бесконтрольно, упиваясь властью и благами. Хрущев имел восемь дач, Брежневу каждый день возили семгу за 2000 километров, жена Кириленко с двумя подругами забрала целый этаж теплохода для прогулки вокруг Европы... Даже если эти слухи были наполовину раздуты, Миша видел, что привозят в "закрытый" буфет горкома партии икру, апельсины, лосину, которых простые смертные вовсе не видят; знал, что в "закрытых" магазинах жены секретарей райкомов и обкомов покупают норковые воротники за 40 рублей, когда в магазинах они стоят 160, французские нейлоновые шубы — за 50, а в магазинах, если они и появляются, то стоят 250... Бедный Салеев при окладе свыше 400 рублей в месяц каждый год бесплатно ездит в Крым со всей семьей, а Гаврюха, трижды раненый перераненный, еле-еле добивается платной путевки в Кисловодск, и то зимой.

— Но откуда у них могут быть деньги на благо народа, для строительства стольких домов, сколько надо, если один Египет сожрал восемь миллиардов долларов, если каждый день помощи Кубе стоит миллион долларов, а где еще война во Вьетнаме, подарки "друзьям" в Африке, в Латинской Америке??! — спрашивал Миша и отвечал себе:

— Да не хотят они блага для всех. Благо для всех — это еще демократия, а благо по выбору, благо для избранных укрепляет диктатуру, потому что благами покупают стражников и

лизоблюдов, оплачивают надсмотрщиков и придворных поэтов, — так говорил себе Миша, стоя на чадной кухне, среди визга и ненависти 14 человек, спрессованных на пяточке коммунальной площади. Людская же мерзость и пороки становятся невыносимыми, когда носители этих пороков и этих мерзостей живут сдавленно, точно солома в тюках.

Он накормил и выпроводил дочь, покушал сам, вернулся в комнату. Хана лежала на спине, раскинув руки, отдыхала. У них был один диван на двоих, не потому, что была пылкая любовь, а потому что в комнате не было места для другой кровати или дивана. 14 лет они жили здесь, 14 лет были вынуждены спать вдвоем на одном диване. И если один из них заболел, лежал с температурой, второй все равно спал рядом. Они ложились и валиком: голова к ногам, и менялись местами — диван не становился больше. Они уставали от ночей вдвоем, и в те дни, когда Хана работала во вторую смену, она по утрам оставалась в постели одна — отдыхать. Миша хотел построить нары, нечто вроде койки на пароходах, но Хана кричала:

— Ты хочешь, чтобы я жила в казарме?!

Это было глупо; когда у тебя комната — 14,68 квадратных метра, не все ли равно, на что она похожа: на каюту или камеру, было бы удобно. Но Миша понимал жену. Она была хозяйкой и хотела, чтоб ее несчастное жилье выглядело не хуже, чем у людей.

— Тамара ушла?

— Да.

— Ты положил ей булочку?

— Конечно.

— Я сейчас встану. Спина очень болит.

— Полежи. Можем выйти в восемь. Там открывают в 8.30.

— Господи! Неужели они нам откажут?

Миша даже не стал расстраиваться надеждами. С чего бы советская власть стала жалеть людей, желающих уехать?!

— Ты придумал, что подарить Марику?

Миша улыбнулся невидимой улыбкой. Нервы у меня стали

крепкие! — подумал он. — С того дня, как я решил, что надо удирать, — просто сталь. Тысячу раз она заставляла меня придумывать подарки всевозможным людям, и все, что я придумывал, немедля отвергалось, и покупала она все равно то, что находила нужным сама, но каждый раз снова и снова заставляет меня терять время и мозги на эту бесполезную работу.

— Давай ему подарим газовую зажигалку за 13 рублей.

— Зажигалку? Это идея. Простая зажигалка у него, конечно, есть, но газовая... Это ты хорошо придумал.

Она встала, пошла умываться, пока он складывал кресло-кровать Тамары и убирал постели.

— Но где он будет брать газ? — Хана стояла у зеркала, причесывалась.

— Нет, твои идеи всегда какие-то поспешные. Разве ты не знаешь, что газ — проблема? И потом, зажигалка слишком маленькая вещь. Марику исполняется 40!

— Может быть картину? Такую деревянную, интарсию, в латышском стиле?

— С самого утра меня взвинчиваешь? Что ты — нарочно издеваешься? Какая может быть картина? Рига? Домский собор? Что, Марик уезжает из Латвии? И при чем тут картина, которую вешают на стенке для всех? Я хочу подарок для моего брата!

— Пойдем! — попросил Миша. — Теперь пора. Там очередь растет каждую минуту.

Хана подошла к шкафу.

— В чем я пойду?

— Да в чем хочешь.

— К Марику?!

— Я думал ты о ломбарде.

— Ты никогда не думаешь обо мне. Мне не в чем идти к Марику!

— Старая история! — подумал Миша. — Сколько лет живем, столько лет ей в гости идти не в чем. Она спрашивает меня в чем идти, как будто вчера или неделю назад не знала, что у Марика день рождения, а у нее нет нового платья.

— Одень кремплиновый костюм.

— Чтобы замерзнуть? Ты же знаешь, что он не лезет под мое пальто.

— У тебя есть шуба.

— Шуба?!

Шуба была больным местом в их гардеробе лет двенадцать. Когда они поженились, Хана купила с рук плюшевую шубу из Шанхая. Спустя пять лет шубу покрасили в черный цвет, еще пять лет спустя отпорол манжеты и перешили воротник. Сколько же может женщина ходить в одной и той же шубе?

— Не знаю, в чем тебе идти, — сказал Миша. Может совсем не ходить?

— Ты хочешь, чтобы я не пошла на день рождения к родному брату?!

— Прощу тебя?! — сказал Миша. — Мы опаздываем. По дороге придумаем.

Они выбрали из шкафа новое итальянское пальто, купленное в Москве после трехдневного стояния в ГУМе, завернули его в бумагу, уложили в сетку. У них бывали тяжелые дни, до ломбарда они дошли впервые.

— Может быть я совершил преступление против моей семьи, когда втравил их в этот отъезд в Израиль? — в который раз терзал себя Миша и в который раз твердо знал, что нет, как раз наоборот: он совершил бы преступление перед женой и дочкой, имея возможность уехать, и не уехав, потому что это было тяжким преступлением не попытаться вырвать их из этой чудовищной страны и не вернуть в страну отцов.

Он искоса глянул на Хану: она выглядела нищей и больной в черной шубе с красной косынкой и в сапогах с надставленными головками.

— Ничего, — подумал он, — ничего. Здесь это не имеет значения, мы здесь временно, там — в настоящей, в прочной, долгой жизни будет у нее одежда.

— Что ты меня разглядываешь? — рассердилась Хана. — Все равно зимой я не буду носить итальянское белое пальто. Кто это может ехать в трамваях в белом пальто?!



Они прошли до угла Пернавас и Кришьяня Барона, сели в трамвай и всю дорогу, пока ехали, и потом, пока шли мимо Центрального универмага, Мишу не покидало чувство, что все кругом понимают, куда они идут.

А в ломбарде стояла очередь, серая с черным очередь понуренных людей, половина ее не умещалась внутри, человек тридцать ждали на тротуаре. Прохожие обходили очередь по мостовой, не выражая ни удивления, ни возмущения. Две старушки, высунувшись в окна напротив, равнодушно глядели на людей у ломбарда, будто они были естественным продолжением крепостной стены.

Ломбард сам по себе казался Мише чем-то таким, чего бы не должно быть в социалистическом государстве, но уж вовсе невозможным показались объявления, вывешенные над окошками приемщиков:

”Импортные фотоаппараты не принимаются”.

”Панбархат, креп-жоржет и набивные ткани не берем”.

”Прием обуви всех сортов прекращен”.

— Простите, вы рижанин? — спросил мужчина, стоявший впереди. Он был одет в хороший, но старый костюм, имел большую, красивую голову и отработанный певческий баритон.

— Коренной! — ответил Миша.

— Смешно, — сказал певец. — И грустно. В свое время, когда я учился в консерватории, я страшно ненавидел старьевщиков. Они брали вещи за пятую часть цены. Но брали, сударь! И еще можно было точно договориться, чтобы не продали, что придете и выкупите вещь. И они ждали. Отчасти они были меценатами, ей богу. И дорожили клиентурой. А здесь не берут, и точка. Я принес вчера совершенно новый ”Кодак”, и не взяли. Импорт. Сегодня, вот стою, и не знаю: возьмут или лимиты на серебро тоже исчерпаны?

— 20 копеек грамм! — сказала женщина сзади.

— Как так? Государственная цена скупки — 40 копеек за грамм серебра!

— А здесь ломбард. Дают 50% от магазинной цены.

— Если вещь новая! — вмешалась еще одна женщина. — Я принесла совсем новую юбку, только чуть замазалась в шкафу, может об стенку, не знаю, вот тут у подола маленькое пятнышко, возьми щетку, сойдет, так мне дают за нее пять рублей! Говорят — ношенная!

— А куда они денут старое?! — сердито спросила третья женщина.

— Вы сегодня купите в комиссионке старое? Все ищут новое. Комиссионки полны, никто ничего не берет. Скоро ломбард совсем закроют.

А если у меня нет ни копейки? — изумилась Хана. — Где я должна взять денег?

В ней жила неистребимая, внушенная газетами и лекторами вера, что в этой стране человек не может оказаться без помощи, что ”наверху” кто-то неусыпно заботится обо всех случаях в жизни граждан, и бывала страшно расстроена и поражена, когда оказывалось, что существует брешь в государственной системе заботы о гражданах.

— А кого это волнует? Крутись, как знаешь! — сказала женщина позади Миши.

— Им что, по ним, так хоть помирай! — сказала та, что стояла впереди.

Так ведь и помирать не умрешь без денег! У меня умерла бабка моей тетки, совсем старая старуха, 15 рублей пенсии получала. Так за гроб просят 40, за рытье могилы давай на водку — 3 рубля, за капицу, попу, за свечки — еще 30.

— Извините, что я вмешиваюсь, — вежливо сказал певец. — Известный польский сатирик Ежи Лец сочинил такой афоризм: "Не будьте подозрительными, не ищите смысла там, где его нет".

— Что вы говорите мне слова да слова? — возмутилась Хана. — Если это ломбард, как они могут не брать вещи?! Должен быть кто-то, кто устанавливает справедливость!

— Вы меня спрашиваете?! — певец развел руками. — Я сам, как видите, стою, не знаю, возьмут мои подсвечники или же не возьмут.

— Анечка, — сказал Миша, — уже пять минут десятого. Там тоже очередь. Я пойду.

— Хорошо, конечно, не опаздывай. Если меня здесь уже не будет, значит все в порядке, я пошла дальше!

Он погладил ее по руке и двинулся в ОВИР.

## 6.

Миша Комрат поднялся по узкой, темной Коммунальной улице, прошел под аркой русского театра с его новой алюминиевой башней и очутился на улице Ленина, возле ателье "Балтияс модес". Здесь всегда было трудно пройти, даже после того, как перенесли троллейбусную остановку; все равно возле ателье торчала непременно очередь, а тротуар был узкий.

И вот, едва завидев очередь, по советской, укоренившейся привычке, Миша машинально очутился около последнего в ней человека и спросил:

— Кто крайний?

Он знал, что в русском языке нет слова "крайний" для обозначения человека, стоящего в очереди в самом конце, но уже многие годы, как на вопрос: "Кто последний?" — то и дело следовал злобный ответ: "Сам ты последний!"

— Что дают?

Женщина впереди Миши, не удивляясь, что вот человек сперва встал в очередь, а уж потом хочет знать за чем, собственно, он встал, ответила:

— Да говорят "Морозко" будут давать, на Октябрьские.

— Почему метр?

— 32 рубля.

— 32,50! — со вкусом уточнила девица в итальянских, в обтяжку сапогах и плаще-макси, видимо, из Польши.

— А это что, приличный материал?

— На зиму хорошо. Ворсистый, не мнется.

— Синтетика! — сказала дама с выдающейся челюстью.

— Ну и что? — ответила девица в сапогах. — У вас есть деньги, чтобы покупать натуральное? 1500 за подержанную шубу?

— Не знаю, куда подевался мех! — сказала женщина, вставшая в очередь уже за Мишей. — Куда пропал весь мех? Раньше, еще в 1960, помню, в магазинах была и норка, и цигейка, даже каракуль, и не дорого...

— На экспорт гоним! — авторитетно сказала дама с челюстью. — Все продаем за доллары: крабов, икру, золото, теперь янтарь.

— Доллары тоже нужны! — наставительно заявила дама в пурпурном пальто и синих клеенчатых польских сапогах (Миша знал, что такие сапоги стоят в магазине, если бывают на прилавке, 18 рублей, а с рук их продают за 70). — Доллары тоже нужны. Мы живем в капиталистическом окружении, нам приходится с ними торговать.

— А почему они не продают нам свои автомобили за рубли? Может потому, что доллар обратимая валюта, ее всюду берут и всюду за доллары американцы платят золотом, а рубль не оплачивается? — ехидно спросила девица в сапогах, которые ей могли влететь минимум в 90 рублей.

Миша смотрел на спорящих. Это были люди, которые окружали его годами, он видел их на улицах, в кино, терся об них в трамваях, спотыкался в электричках, сидел с ними рядом в мертвых очередях к врачам — он знал назубок, о чем они будут говорить и сколько стоит любой из предметов одежды этих людей. И не потому, что проявлял интерес к

тряпкам или понимал в них, а потому что разговоры о покупателях и продавцах, о блате в магазинах и ценах преследовали советского человека на работе и в гостях. Вся страна была похожа на огромную толкучку, где ничего нет на виду, а из-под полы есть все. И точно: зайти в магазин, будь то в Баку, будь то в Одессе (Миша бывал и тут и там), на виду нет ничего, кроме постылого, кривого, страшного на вид и ошупь советского товара, а люди на улицах одеты в заграничное...

— Сколько же может стоить пальто из "Морозко"? — думал Миша. — Если нам скажут "нет", придется зимовать, сколько же Хана на самом деле может носить одну и ту же шубу?

Он подсчитал свои долги и возможные доходы. Допустим ОВИР откажется сбавить цены за дипломы, дадут справку, что ему в визе отказано, можно пойти на завод, наняться слесарем. Первая получка — в декабре, а надо жить еще ноябрь.

Он вышел из очереди и, ничего не объясняя, зашагал прочь. Он не спешил; в ОВИРе ничего хорошего ему не светило. Миша тянул время.

Он вышел к Городским часам, на которых до войны стояло "Лайма" — фирменный знак шоколадной фабрики, а теперь было наклеено всякой твари по паре: фотографии банок со шпротами, бутылок латвийского черного бальзама, станков и вагонов, производимых в Латвии. Зачем часы должны были служить рекламой промышленного развития, не знал никто. Возможно, кто-то из боссов Латвии, то ли сам Первый секретарь ЦК Восс, то ли его заместитель, не менее невежественный господин Белуха, решили, что раз часы стоят вблизи отеля "Рига", где размещают иностранцев, то положено им быть витриной расцвета.

Возле часов, в старом покрашенном недавно киоске, продавали газеты и журналы. Миша купил за 40 копеек "Журналист", развернул на середине, нашел самое интересное: статьи иностранных корреспондентов, и присвистнул. На сей раз напечатали американца — корреспондента "Дейли уоркер" в Москве. Статья пылала восторгами по поводу благ, выпадающих на долю граждан СССР, как то: бесплатное обучение, лечение и дешевизна квартир. Мишу обуяло тяжкое огорчение. Он понимал, что советская печать, тем более "Журналист", не

станет публиковать иностранца, если тот не хвалит СССР, его политику, экономику или хотя бы величину луж, но все же в статьях людей из-за рубежа нет-нет и билась живая мысль, проливавшая свет на жизнь там, за стеной. Американец писал тоскливо-восторженно, как писали купленные советами "Борцы за мир" в 1950 году...

— Ох, дураки! Ох, дураки! — огорчился Миша. — Ведь они знают правду. Или не знают? Может, их так одурачивает изоляция? КГБ умеет создать вокруг иностранца круг, в который не попадает простой гражданин. Но ведь иностранец видит очереди? Разве до него не доходит, как люди хотят убежать отсюда, и не только евреи? Разве он забыл 35 армян, просивших приюта в посольстве Великобритании? Литовцев, дошедших до угона самолетов и кораблей?! А сто баптистов, запершихся в церкви возле итальянской миссии?

Но может быть этот американец просто глуп? Я читал много книг об Америке, советского издания, разумеется. Читал статьи в "За рубежом". Я знаю, в Америке бьют негров, есть много безработных, гангстеры, мафия. Есть заговор против пациентов, против мира. Но ни в одной книге я не нашел, чтоб в Америке пальто стоило больше месячного учительского заработка, а Хана получает 95 рублей, когда пальто стоит 135! Я нигде не читал, чтобы в Америке пара обычных туфель съедала половину провизорской зарплаты. Я зарабатываю в школе 150 в месяц, туфли стоили мне 42. Конечно, тяжело, когда врачи дерут три шкуры, особенно, если нет работы. Но ведь болеешь в конце концов не каждый день, а масло и сахар нужны каждый день... Мы работаем вдвоем и еле-еле сводим концы. Три рубля 50 копеек стоит килограмм масла!

Нет, я заставил бы коммунистов-иностранцев пожить в СССР рядовыми гражданами, чтобы они получали 95 рублей в месяц и чтобы они часами стояли на базаре задохлой утятинной, а в райкомовском буфете старым большевикам отвечивали бы карбонады!..

— Нахлынуло! — рассердился он. — Накатило. Сколько раз давал себе слово не расстраиваться, у меня потом день печень болит, а что меняется? Тысячи людей уже в голос проклинаят

их, ненавидят, высмеивают, но что изменилось? Фамилии вождей. Это-то и все перемены?!

На скамейках вдоль улицы, спиной к театральному Бульвару, сидела молодежь. Девушки были почти все в брюках, курили наравне с парнями. На парнях были нейлоновые, небрежные куртки, широкие галстуки, вельветовые брюки. Многие — и девушки, и парни — ходили в Мильтоновских брезентовых костюмах. Они следовали за модой сверстников на Западе. Брала от жизни все, что можно было разрешить себе в СССР. Они знали свои пределы, для них не существовало вопроса об отъезде, а значит ОВИРа, выкупа и тысячных долгов, которые еще негде было сделать.

Многие ли из этих молодых вообще понимают, что такое выехать отсюда? Почему это я вбил себе в голову, что среди молодого поколения русских и латышей должно быть немало таких, которые рвутся на свободу? Если я пресытился коммунизмом, это еще не значит, что латыши должны ненавидеть русскую оккупацию, а русские мечтать о демократии. Нам, интеллигентам, к тому же евреям, всегда было свойственно принимать желаемое за действительность. А надо жить реально, надо смотреть фактам в лицо.

Он оглянулся. Впереди, через улицу, за стеклом широких витрин магазина "Орбита" стояли нарядные телевизоры разной величины. "Рекорд" стоил после снижения цен 1972 года всего лишь 160 рублей, цветной "Радуга" — 850.

Улицу Ленина, разделяя поток транспорта, украшала "Мильда" — Памятник Свободе, на вершине которого стояла бронзовая женщина, держа в ладонях три золотых звезды — символ трех областей Латвии. На западной стороне памятника чернела надпись "Отечеству и Свободе".

"Мильда" уже давно была грязно-зеленая от окиси, на камнях цоколя осели пыль и уголь, вырос мох. Памятник не чистили, но и не сносили...

По обе стороны памятника катились в три ряда автомобили. Купленные в комиссионке старые "Москвичи", скопированные в 1946 году с довоенных "Опелей", стоили сегодня 2550, новая приземистая "Волга" стоила 9000.

— У кого деньги, тому всегда хорошо! — сказал себе Миша.

Перед его глазами встал 1935 год, на месте памятника были еще леса, обнесенные забором в рост великана. На заборе красовалась реклама мыла: в ослепительной ванне сидела в пене ослепительная дева. Мужчины подходили, толкали один другого плечом:

Спой гимн! Пусть она встанет!

В 1935 году он клокотал. Президент Ульманис вознамерился выбросить на памятник 100 000 лат, а в Латвии было столько голодных! Люди жили на чердаках и в подвалах!

В 1972 году правительство Советской Латвии уплатило за памятник Красным латышским стрелкам и музей около памятника 2 миллиона рублей. Памятник поэту Райнису тремя годами раньше влетел казне в полмиллиона: гранит везли негабаритными поездами за 2500 км. Полмиллиона стоил памятник Петру Стучке, которого Ленин назначил комиссаром юстиции, Сталин велел забыть, а Хрущев восстановил из небытия. А еще стояла в городе, на самом оживленном перекрестке улиц Ленина и Кирова, мраморная глыба, а на ней бронзовый Ленин исполинского роста. Рука вождя была простерта на восток. Туда, к России должны были стремиться латыши... А латыши сочинили анекдот про руку вождя, потому что напротив памятника находился дежурный магазин, где продавались вина. "Пойдем, куда нас зовет Ленин!" — говорил анекдот. — "И будем пить так долго, покуда будем видеть палец на протянутой руке вождя, когда увидим два пальца, вместо одного, значит вождь велел идти домой".

Каждый год первого сентября, когда начинался учебный год в школах, к памятнику вели тысячи детей возложить цветы к ногам Ленина. И 7-го ноября и Первого мая сюда направляли потоки молодежи — класть цветы. Кино и телевиденье спешили запечатлеть картины всенародной любви к Ильичу, а значит к его партии, а потом миллионы зрителей видели в красках и в черно-белом изображении это идолопоклонническое уничтожение денег. Цветы стоили дорого; базар тоже не дремал. В дни поклонения вождю цены удваивались; одна роза стоила рубль пятьдесят, гвоздики шли по рублю штука. Миша давал Тамаре на цветы для Ленина не меньше 3 рублей, школа требовала, чтобы цветы были не ниже красных астр.

Думая о памятнике Ленину, Миша не мог остановить воспоминаний. В ушах звучал и повторялся вопрос, который ему задала Тамара, когда ее впервые в жизни повели с цветами "к Владимиру Ильичу".

— Папа, а Ленин был на самом деле, или это сказка?

И слышались голоса из толпы, наблюдавшей, как пионеры, в белых рубашечках, стояли на дожде 7-го ноября при знамени, над морем низверженных цветов в почетном карауле "у Ленина":

— Детей тоже не пожалели!

— Тут денег на пять тысяч! Мне бы на год хватило для детей.

— А сам-то Ленин запрещал всю эту свистопляску с поклонами. Бонч-Бруевич, его секретарь, хотел один раз назвать Ленина "Наш Вождь", так тот ему устроил строгий выговор! Э-х, нет на них Ленина!

Советское правительство выбрасывало на гранит и мрамор миллионы, а у ломбарда день-деньской никли очереди. Люди жили в подвалах и на чердаках. Миша знал женщину, которая 9 лет прожила в подвале на улице Кирова № 39. Со стен текло, пол прогнил, она жила. Знал учителя, который 14 лет жил в доме, признанном "аварийным". В дом не проводили газ и теплую воду, туалеты находились во дворе, воду носили из колодца. Осенью 1971 года редакция попросила Мишу съездить, посмотреть, чем можно помочь людям на острове Ранкас. Он поехал и увидел город бараков. Потолки были зелеными от мха, в щели полов проваливались дети. Электричество было отрезано — электросеть не хотела отвечать за проводку в гнилых строениях, а все бараки были гнилые.

Деньги уплывали на памятники и цветы, а в школах занимались по три смены. И не в одной какой-нибудь, а во всех решительно. У правительства не хватало денег для новых школ, поэтому в каждом классе сидели по 40 учеников.

Миша стоял на углу улицы Ленина и Бульвара Райниса, а мимо него несея поток автомобилей, принадлежавших частным лицам. В потоке преобладали новые "Жигули", про которые все и каждый знал, что это — "Фиат" советского производства, только за рубежом он стоил не больше 1800 долларов, а тут — 5900 рублей или шесть с половиной тысяч долларов. В

”Жигулях” сидели хорошо одетые мужчины и женщины, из многих машин выглядывали собаки.

— Если бы я увидел собак в автомашинах в буржуазной Латвии, я бы кричал и потрясал кулаками: ”Буржуи! Сволочи! Потешают собак, когда столько людей перебиваются с хлеба на воду!”...

По улице проходили женщины с авоськами, набитыми морковью и картофелем, шли инвалиды на одной ноге, старушки тащили на спине внучат; вся эта публика покорно ждала затем на остановке троллейбусов, чтобы спрессованно уехать к себе в районы новостроек — на улицу Дартас или Буллю. Сотни катались в собственных машинах, сотни тысяч и думать не могли о такой роскоши.

— Слава богу, у меня нет автомобиля! — сказал мне Миша. — При нашей технике обслуживания, когда на весь миллионный город только одна станция автосервиса, и та без запчастей, если не дашь ”на лапу”, легко ли иметь авто? Сегодня они едут, три дня потом пролежат под машиной. И откуда я знаю, что послезавтра скажет очередное политбюро? Сталин поощрял частный автомобилизм, Хрущев объявил его буржуазным пережитком и отбирал машины в таксопарки. Кто знает, что решит новый башибузук, который сядет на престол после очередного внеочередного съезда партии?!

## 7

В коридорах ОВИРа стояла табачная прохлада, линолеум сверкал свежим воском. На лестнице, с первого этажа до второго, стояли люди, разговаривали шепотом на идише. На втором этаже, в узком коридорчике напротив дверей, обитых дермантином, на венских стульях сидели восемь человек — по числу стульев, и еще шестеро занимали места в очереди в проходной. На двери номер 8 висел список счастливых граждан, которым ”в приемные дни разрешалось обратиться”. В списке значилось 25 фамилий. То был второй крупный список после второго августа, когда ввели уплату за дипломы.

— Ну, что у вас?

Миша не знал имени и отчества женщины, заговорившей с

ним, но она была тут в ОВИРе постоянным клиентом. Он ответил:

— Вот стою в списке, номер 5.

— А мне так они не дают! Говорят, ждите 7 лет! Сын служил в авиации... Нет, я еще раз пойду к Кайе, я скажу ему — пускай меня направляют к Косыгину!

— Кайя к Косыгину не направляет. Поезжайте сами, только разговаривать в Москве не с кем. Я ездил, — сказал молодой человек в кожаной куртке.

— Вы уже нашли деньги?

Миша развел руками.

— Слушайте, голландцы дают! Мне один человек под честное слово рассказал, одному дали 15 000!

— Знаю! — сказал молодой в куртке. — Райхману. Так я — Райхман. И дали мне шиш. Чтобы попасть к голландцам, надо иметь визу. А визу купишь только, если уплатишь за диплом.

— Это они здорово придумали! — весело заявил мужчина, курчавый головой, шеей и руками, как плюшевый мишка. — Обложили, что волков красными флажками.

— По Москве ходит письмо какого-то Перельмана, он призывает, чтобы не платили, чтобы отказывались от виз. Пускай они отменят выкуп.

— У него есть разрешение?

— Не знаю.

— Так пусть он сидит и ждет. А мы-то как попались! Вы слышали, чтоб где-нибудь закон имел обратное действие? Даже в СССР нет. А для нас имеет. Я подавал документы 10-го июля, когда никакого выкупа не требовали! Как я теперь могу оставаться, если меня с работы — фьют, с очереди на квартиру — фьют, из профсоюза — тоже?! Не-ет, тут уж разбивайся, но уезжай.

— Давайте, скажите, как разбиться! Вы слышали про Лондонский конгресс? Собрались евреи из 12 стран, решили: никаких фондов выкупа, никаких долларов за евреев! И правильно. Нельзя поощрять работорговлю. Но мы-то влипли! О нас, кто подумает? Ей-богу, Голда могла бы подумать о нас, может таких человек 200 на весь СССР, кто подавал документы до, а получил разрешение после закона о дипломах!

Отворилась дверь, обитая дерматином, выглянула молодая, симпатичная лейтенантша:

— Граждане! Вы мешаете!

— А что нам делать? Молчать, когда нас раздевают?!

— Если у вас нет денег на отъезд, значит ваше решение уехать было ошибочным. Я бы давно ввела уплату за дипломы!

— Вот как? Вы нас так любите, что не хотите отпускать?

— Что ты привязываешься к лейтенанту? Она имеет свое мнение, мы — другое.

— Конечно! — сказала лейтенант. — У вас мнение, что вас ограбили. А мы что должны думать? Вас тут растили, учили бесплатно, мы все платим за это налоги, а вы поедете служить капиталистам?

— Мы ходим домой, на свою Родину!

— Но мы должны заботиться о нашей!

— Ладно! — сказал плюшевый мишка. — Допустим вы правы. Надо платить за высшее образование. Но если это сделано в целях справедливости, так надо установить цену нового диплома, и сколько стоит год отработки, и смотреть, кто уезжает: может я отработал уже 30 лет и давно выкупил диплом? А вы берете с пенсионеров и с молодых инженеров одно и то же!

— Давайте откровенно! — сказала лейтенант. — И мы знаем, и вы, что это сделано не из-за денег. Но деньги у вас есть! Да для меня и 900 рублей — огромная сумма! Я в год не могу отложить 300 на путевку! Но ваши люди несли по 900, платили тысячи за упаковку! Сколько сервизов и хрусталя вывезли? "Юбилейную" мебель — всю вывезли! Янтаря в Риге нет! Почему же не брать с вас денег?

— Провалились вы с этими деньгами! — сказал парень в куртке. — На что вам рубли? В Советском Союзе рублю цены нет. Все государственное. Заводы и магазины, и колхозы. Сегодня я заработал, завтра понес те же деньги в магазин, а магазин уплатил колхозу, а колхоз — госбанку. Государству от наших выкупов только международный скандал будет. Вы на доллары рассчитывали, полтора миллиарда долларов хотели отхватить. А не выйдет!

— Мне от вас лично ничего не нужно! — обиделась лейтенант.

— Мы тут ни копейки не имеем надбавки за ваши деньги. Только возня лишняя с квитанциями.

— Все это лишнее! — сказал плюшевый. — Кругом нехорошо. Давайте, товарищи, умолкнем. Не будем мешать работать, пусть получают визы те, кто уплатил, а то им лишнее начислят!

Миша прошел в глубь ОВИРа. Там была маленькая ожидальня, круглый стол и под стеклом печатное объявление:

”Зам. министра МВД Латвийской ССР по вопросам выезда принимает каждый второй понедельник месяца по предварительной записи”.

Женщина в зеленом берете кивнула Мише, показала головой на объявление:

— Все сделано, чтобы не принимать! Раньше принимали по живой очереди раз в неделю. Теперь надо записываться. А запись на два месяца вперед. А принимают один раз в месяц... Раньше, чем через три месяца не попадешь...

Тут же в приемной стояла костлявая дама лет 35, в желтой кофте и красной юбке, в сандалиях, при кольцах и браслетах, гремевших на ее костях, курила длинную сигарету в длинном янтарном мундштуке и по-немецки говорила мужу:

— Ты не должен позволять этим людям думать, будто мы — мебель, которую можно передвигать туда-сюда. Ты женился на мне и ты имеешь права уехать в Германию! Дерзким не надо быть, но принципиальным и смелым.

— Ты плохо знаешь этих людей, — жалким голосом оправдывался муж. — Я к ним хожу, хожу...

— Нет, ты не должен покоряться! Люди уезжают в капиталистические страны, а ты просишь разрешение уехать в ГДР!

— Они говорили мне, что после свадьбы разрешат.

— Комедия! Цирк! Нигде такого не видела! — кричала жена.

— Чтобы из страны нельзя было выехать?!

— Почитай объявление! — сказал муж. Он был по всей вероятности латыш, это слышалось в произношении, да и немецкий его хромал. — Тут говорится, что по вопросам выезда принимают один раз в месяц.

— Комедия! Цирк!

Открылась дверь, оттуда вышел тощий и хлипкий человечек,

с типично еврейским носом и курчавой головой, вышел и продолжал упрашивать:

— Я возьму его к себе на квартире!

— Вопросы о возвращении решает Верховный Совет! — отчеканил высокий мужской голос.

— Но он так просит! Он же ошибся! Неужели его не могут прощать?

— Прощают и преступников! Но что-то у вас очень многие ошибаются. Вопрос решает Верховный Совет. Пусть ждет.

Вышедший из кабинета со злобой и боязнью оглядел ожидающих приема. Они легко могли понять, что он приходил просить за кого-то, кто хотел вернуться из Израиля в СССР, а люди, ожидавшие в приемной, добивались выезда... Да и видел Миша где-то этого человека... Да, да, по телевизору, в фильме, отснятом в советском консульстве в Вене. Это был один из перебежчиков, человек без совести, потому что он знал, какую возню поднимает советская пропаганда по каждому случаю возвращения евреев из Израиля в СССР. Об этом трубили в газетах и по радио, снимали фильмы. Каждый, кто возвращался, знал, что его примут назад, если он беспрекословно выполнит сценарий: будет проклипать сионизм, будет рассказывать, как израильская клика глумится над арабами, будет рассказывать, как компартия Вильнера "протягивала ему руку помощи" и как плохо жить в стране евреев, "продавшейся американскому империализму". А этот, который выходил из кабинета Кайи, был и вовсе ничтожеством: он кричал перед телекамерой, что в Израиле процветает антисемитизм, что его избили в Тель-Авиве, когда он на идиш спросил название улицы...

Кайя позвал немку и ее мужа. Минут через пять они вышли, она громко сказала:

— Что я говорила? Один ноль в мою пользу!

Он — млеющий от счастья и ее власти — только кивал:

— Виза! Я получаю визу!

Полковник снова выглянул из кабинета, увидел женщину в берете и раздраженно сказал:

— Вы думаете, что я осел? Я вам сказал: ваш сын служил в

секретных частях, его не выпустят 7 лет. Езжайте в Москву или в ООН, но меня оставьте.

— А я хочу уехать! Я хочу уехать!

Кайя поморщился, устало попросил:

— Уйдите сами, чтобы я не вызывал милицию.

Он кивнул Мише, пропустил в кабинет.

Здесь стояло два стола, один — письменный, под окном, другой — канцелярский, боком к первому. В кабинете было много стульев, но Кайя никого не приглашал садиться.

— Да?

Миша смотрел на полковника, на его круглое лицо с мелкими чертами, седую в завитках голову, на его штатский костюм, кольцо на пальце, и не решался.

— Слушаю!

— Товарищ полковник, к кому я могу обратиться, чтобы отменили выкуп за дипломы?

— Не к кому.

— Я инвалид войны, два раза ранен: под Ростовом и под Курском. Отца убили белые в 1919. Жена — детдомовка...

— Ничем не могу помочь. Постановление — правительства, а не мое.

— Может быть, написать Косыгину?

— Пишите. Но это бесполезно. К нему не попадет.

Про Кайю говорили, что он бессердечен, груб, что любит острить, издеваться. Кто-то уверял Мишу, что полковник занесен под номером шесть в "Черный список", составленный евреями за рубежом на преступников, повинных в истреблении евреев. А перед Мишей сидел усталый человек, которому, по-видимому, до смерти надоели евреи, визы, жалобы, возня с выкупом... Миша был готов поверить, что этот человек мог сказать в компании:

— Была бы моя воля, я бы их выпустил всех, даром.

Он повернулся и ушел.

Ничего другого, собственно, он не ожидал.

Только Хана могла поверить рассказам "осведомленных людей", что ОВИР "скинул" шесть тысяч инженеру Барону, что доктор Яфет добился снижения цены за диплом наполовину.

Миша вернулся в ломбард, Ханы уже не было. Он вошел в телефонную будку, бросил в щель аппарата 2 копейки, аппарат не подавал признаков жизни. Перебрался в другую будку, но и там телефон не работал.

— Когда-нибудь этот город сгорит, потому что нельзя будет позвонить пожарникам!

Он вошел в Центральный универмаг; здесь, слава богу, автомат действовал, и он позвонил в аптеку.

— Анна ушла на базу! — ответила заведующая.

”Ушла на базу” — был дежурный пароль. Это значило, что Анна пошла по магазинам и ее заменил кто-то из коллег. Все знали, что у Марика сегодня день рождения.

Миша вышел из универмага, побрел по улице Вальню и у ступеней отеля ”Рига” столкнулся с Лией Фейерблат.

— Мишенька! Привет! — сказала Лия певучим своим голосом. — Я о тебе все знаю!

— Я о тебе тоже!

— С чего начинается родина?

”С чего начинается родина” — были слова из песни, которую еврей из Ленинграда Баснер сочинил для фильма ”Щит и меч” на слова еврея же Матусовского. А фильм был поставлен по роману каменного сталиниста Вадима Кожевникова. Дрянной фильм по дрянному роману, если уж главный герой, артист Любшин, по телевидению сказал, что он считает диалоги надуманными, историю — маловероятной, а играл лишь потому, что характер героя захватил его. Роман и фильм повествуют о советском разведчике, который проник в штаб Гиммлера и был занят переправкой эсэсовского золота в Швейцарию. попутно, разумеется, передавая в Москву секреты первостатейной важности. Так что публике оставалось недоумевать, как это все же немцы дошли до Волги и почему Гиммлер не очутился в руках советов?! А песня — хорошая:

”С чего начинается родина?

С картинки в твоём букваре.

С хороших и верных товарищей,

## Живущих в соседнем дворе”.

Евреи быстро переделали песню на свой лад:

”С чего начинается родина?

С подачи прошения в ОВИР...”

Лия Фейерблат подала прошение в ОВИР и получила уже два отказа.

— Пойдем к нам! Гриша тебя давно не видел.

— Это потому что у нас ночи холодные, — сказал Миша. — Знаешь ведь, как в ”Крокодиле” рисуют американских безработных: на скамейке, в парке, под газетами. А мы ночуем дома.

Фейерблаты жили на бульваре Райниса, в старом, чинном доме, где на лестнице были дубовые панели и скамейки для отдыха на каждом марше. У них была квартира из трех комнат, заставленных до потолка.

— Кто там? — крикнул из ванны Гриша.

— Миша пришел! Я его встретила у ”Риги”.

— Сейчас! Налей ему чего-нибудь! Хочешь шерри или водочки?

— стакан воды! — сказал Миша. — Вода растворяет горечь.

— Ну что там у тебя?

— Ходил в ОВИР. Просил снижения цен.

— И что тебе сказал штандартенфюрер Кайя?

— Постановление правительства, а не его.

— Сколько вы стоите?

— Я всего три, заочник, а Хана 5600.

— Ого! Моя Лиечка тянет всего на 4200. А я, слава богу, необразованный — техник. Что ты думаешь делать?

— Ничего. Где я возьму такие деньги?

— Здорово мы влипли! Слышал, лондонский конгресс решил не давать большевикам ни гроша. Никакого международного выкупа не будет. Но нас-то, которые влипли, могли бы выкупить.

— Кто это будет делать?

— Да хоть бы Израиль. Если мы ему нужны.

— Израиль и так воюет.

— Может, тебе Марька даст? Мог бы раскошелиться для родной сестры.

— Говорит нету. Все уходит на машину и дачу.

— Вот сволочь! Продать машину он не собирается? — Лия принесла Мише стакан молока и бутерброд. Сказала:

— А почему он должен продавать машину? Ты бы продал?

Гриша вышел из ванной в пижамных брюках с полотенцем на шее, ответил с презрением:

— Он всегда был шкурником. Но я ему не завидую. Все уедут, он останется кататься на своем "Москвиче" из Риги в Бирини. Я точно знаю, у него на книжке 10 000. Дача-то хоть приличная?

— Каменная. С водопроводом. Отопление паровое.

— Сволочь! Я бы продал дачу для сестры. Разве она не тащила его на себе всю войну и еще девять лет?!

— Но почему по-твоему все должны уезжать в Израиль? — рассердилась Лия. — Марик и не думает уезжать. Так почему он должен портить будущее? Если узнают, что он помогал уехать, его выкинут с кафедры!

— Не понимаю! — сказал Гриша. — Никогда не понимал. Есть Гилельс, Растропович, Коган. Мировые имена. А чтобы выехать на концерт или на лечение, великие музыканты обязаны проситься у КГБ. Какой-то паршивый лейтенантишко будет втайне решать пускать или не пускать?! Да любой барабанщик парижской филармонии идет себе в контору путешествий, платит за билет и — завтра он в Бразилии или на Огненной земле! Да с женой и детьми, были бы деньги! А Гилельс может выехать с семьей?!

Он так разволновался, что выпил Мишино молоко; заметил свою оплошность, махнул рукой:

— В голове не укладывается! Я — гражданин самого передового, первого в мире социалистического государства, не имею права выехать за рубеж! А любой негр, которого мы так жалеем, едет куда хочет! Анджелу Девис, "мученицу" наших газет, уже изображали с факелом свободы, как Статую в Нью-Йорке. Она сидит в тюрьме по обвинению в терроризме, а ее сестра приезжает в Москву плакать о судьбе негров! Если бы

ты сидел, твою сестру пустили бы в Америку?! Ох, гады! Да я продамся до нитки, но уеду!

— В Израиле ждут сионистов, — сказала Лия.

— Чепуха! Я видел последнего сиониста в 1940 году, перед тем, как Сталин отправил их в лагеря в Сибирь. Но если мое желание жить человеком среди людей, чтобы никто не говорил мне: жид, жид, жид, — есть сионизм, так что должны говорить армяне?

— При чем тут армяне?

— Объясню. Есть такая поэтесса, Сильва Капутикян, еще при Сталине прославилась. Так она написала книгу "Караван в пути" о том, что все армяне должны вернуться в Армению, если хотят сохраниться как народ. Книгу перевели на русский, тираж — 200 000! Значит, возвращаться на родину хорошо? Армянам хорошо, а нам нельзя?

— Чудак! Армяне же должны вернуться в Армению под Советской властью. А все, что хорошо для Советского Союза, — это правильно, а все, что плохо, — это ошибки. Белинский ошибался, Тольятти ошибался, Роза Люксембург ошибалась.

— Эх ты! — сказал Гриша. — Тебя надо срочно выслать в Биробиджан!

— Миша, ты ходил в синагогу? — спросила Лия.

— Нет.

— Ну знаешь! — удивился Гриша.

— Не могу. Я не ходил к ним 20 лет, как я приду и скажу "дайте денег?"

— Еврейчики наши! — крикнул Гриша. — Есть, есть деньги у людей, но не дадут! Уже по три лиры за рубль просят! Я знаю женщину, которая в июле сама просилась, чтобы у нее взяли 4000 один к одному, а после того, как человек получил разрешение уехать, началось: "Я болела, не ходила в банк, не знаю..." — а потом выяснилось: кто-то обещал ей по три лиры за рубль.

— Я ее не обвиняю! — сказал Миша. — Деньги есть у тех, кто делал деньги. Мы по ночам спали, они ждали милицию. Почему они обязаны дешево давать кому-то деньги, если есть возможность заработать на этом? Да и что им светит в Израиле? Людей с дипломами берут в ульпаны и кормят, а неученые сразу идут

работать. Кто у нас богат в СССР? Сапожники, продавцы, портные, то есть публика, которая имеет доступ к дефицитным товарам и продает их из-под полы. В нормальном государстве нет дефицитных товаров, есть дефицит знаний. Вот наши богатеи и обеспечивают себе будущее в Израиле.

— Давай, давай! — сказал Гриша. — Мало, что тебя превращают в курьера, перевозчика чужих денег; мало, что ты в Израиле потом будешь годами работать на того же сапожника или буфетчика, — так ты их еще жалеешь. Они едут и притом не платят ни гроша за образование, а ты всех понимаешь и всех жалеешь и то ли еще выберешься.

9

Миша ушел от Фейерблатов с головной болью и вскипающей досадой. Сколько можно было беречь раны? За эти 8 месяцев, с тех пор, как он подал документы на выезд, особенно после того, как им отказали, он слышал столько правильных, сочувственных, гневных слов, но денег не дал никто.

— Черт их знает, — в который раз спрашивал себя Миша, — черт их знает, как они умудрялись накопить. Мы оба с Ханой работали, не пили, не курили, один только раз ездили по профсоюзной путевке в Одессу на две недели, а что у нас есть? 700 книг? А у людей есть золото, хрусталь, "Юбилейная" мебель. Фейерблаты оба после второго отказа потеряли работу, а живут, не нуждаясь. Ладно, он получил от родителей, мир их праху, квартиру и мебель; Лиин отец — врач с пенсией, все отдает ей. Но как накопил Рубинчик? Хаимсон? Боярский? Плохо мне будет за границей, если я и тут не сумел нажить ничего, кроме зарплаты, а там — капитализм, конкуренция...

Но это он подумал так, мимоходом, потому что относился к людям, для которых моральное всегда было ценнее денежного, а на его решение вернуться в еврейство уже не могло подействовать ничто. Вот только про синагогу он соврал.

Миша ходил сюда тайком, когда не было праздников и тысячной толпы, а значит и агентов КГБ. Он приходил, стоял в тесном дворике, а если мог, то заходил и внутрь, молился. У

него была своя вера в бога, она не требовала внешних проявлений, и молитвы Мишины были не те, что приняты в синагоге. Он сочинял молитвы сам, вспоминал ивритские слова и фразы, просил у бога силы и здоровья.

В синагоге, конечно, могли обратить внимание на одинокого человека, который молча приходил и молча уходил. Но в синагоге не спрашивали. Одиноким мог быть агентом КГБ, тем более, что были у него голубые глаза и светлые волосы. Это была синагога в СССР.

С какой стати он стал бы сейчас искать шамеса или габе и просить денег на выкуп? Они могли спросить его: "А ты платил общине?" Могли подумать, что он провокатор. Миша знал, как вылетел с работы учитель Вайнберг: шпион КГБ заснял его в Йом-Кипур в синагоге; снимок лежал потом на столе заведующей рижским городским отделом народного образования. Провокатор пригласил в синагогу Сарочку Блюм; через неделю ее исключили из пединститута. Советский учитель не может быть сионистом...

В трамвае оказалось свободное место. Миша сел. У мехового магазина ввалилась толпа, видимо, после сеанса в "Палладиуме", где шла третья серия "Освобождения". Детский голос пренебрежительно басил:

— В атаку не ходят! В атаку ползут! Помнишь, по телевидению был фильм, девять серий, там один художник правильно говорил: "В атаку ползают!"

— Точно! — сказал другой голос. — Лучше бы они настоящую стрельбу засняли: дум-дум-дум... Надоело про войну, одно и то же.

— Правда! — подумал Миша. — Правда. В том то и дело, что война — это одно и то же. Я был на фронте 28 месяцев, они отпечатались в памяти, как скверный, нудный фильм: только отдельные картины сами встают перед глазами, без усилий. Все остальное надо разматывать из клубка, а что я помню без усилий? Дрянь какую-то. Спор с интендантом в Харькове, на разрушенном вокзале. Нам полагалось полселедки на брата, а он делил две на пятерых. В Остащеве я пришел в госпиталь с воспалением легких, у меня блокировало память, температура лезла под 40, а дуреха санитарка дала мне чай с солью. А

первую свою атаку я почти забыл; если вспомнить, получится неинтересно, скучно. Был дождь, немцы сидели в Ростове, мы их выколачивали. Глина липла к ногам, у меня развязалась обмотка, я упал. Потом посыпал снег, начало морозить. Мы бежали полем, немцы стреляли; потом на поле вышли их танки, мы побежали назад, прятались в подвалах. Ночью нас вывели и посадили в эшелон, увезли на переформировку.

Хорошо я помню атаку летом. Там была асфальтированная площадь перед вокзалом, по краям площади росли кипарисы. Пекло, асфальт сочился черным потом. Немцы сидели за кирпичной оградой школы, а от школы остался один первый этаж, так что снайперам неоткуда было стрелять. Мы пошли в рост. Было ужасно жарко, нам выдали каски; политрук у нас был прямо помещанный на касках, кидался с пистолетом, если кто снимал каску. Было ужасно жарко, и у меня от пота ело глаза и шею. Это очень больно, когда шея потная, заросла щетиной, а об нее трется ремень от каски. Мы шли в рост и не стреляли, потому что у нас было мало патронов. И они не стреляли. У фрицев тоже не было патронов. А пыль была красная, кусучая. Вокруг почти все было разбито, а дома там каменные, кирпичные. От кирпича пыль страшная. Солнце и пыль, совсем не как в Риге. Солнце было, как кварцевая лампа, беспощадное, а ветер, как из духовки. Все было рыжее и черное, пыль на плечах, на ресницах, на губах...

Эту атаку я помню хорошо; я хорошо видел кирпичную ограду, каски немцев, автоматы. Я даже точно знал, какой немец целится в меня и какого я должен убить. Мы начали стрелять метров со ста, шагов с тридцати — бросать гранаты. У нас было мало убитых. Убило политрука, который был помещан на касках, и моего взводного. Его звали сержант Скичко, сколько помню, столько он был сержантом, с января 42-го... Хозяйственный мужик, из председателей колхозов. После смерти у него в вещмешке нашли горсть гороха (какой-то сортовой, особенный горох), подкову, гвозди... Тащил человек на себе, что мог для мира. Сталина он обожал, говорил: "Правильный мужик! С нами нельзя без палки! Почему немец прет и прет и побеждает? У немца порядок! Приказ! Сказано делать — делают. А мы, дай волю, такие митинги разведем!

Славян надо бить, силком тащить к добру!” Но по части антисемитизма не могу не похвалить. Строжайше не позволял даже разговоры о ”жидах” и ”кривой винтовке”.

У немцев за оградой оказался сборный пункт раненых. Мы, как увидели носилки, бинты, раненых, прямо растерялись. Командир роты, лейтенант, только из училища, сказал:

— Ну их к ... матери. Не наше дело. Двигай, орлы, вперед, там еще телефонка у них в руках.

А старшина схватил немецкий автомат и выстрелил. Я знал, что фрицы повесили его брата на оглобле посреди базарной площади, но я ударил старшину по автомату.

— Ты, жид пархатый! — заорал он. Немцев жалеешь?

Не знаю, что на меня нашло, я выставил свой ППД, сказал:

— С Гитлером вместе коньяк пью! Не дам убивать пленных!

Лейтенант подбежал, расклинил нас:

— Молчать! Обоих сдам под трибунал! Под 58-ю\* лезете?! И приказал: ”Пленных, кто ходит, — в штаб. Кто лежит, пускай валяются. Они наших не подбирают”.

Под вечер, когда мы лежали в яме, в степи, а сзади горели наши танки, а впереди горели немецкие грузовики, лейтенант приполз ко мне, шепотом отругал:

— Чего тебе немцев жалко стало? О себе подумай! Что, ты не знаешь, наш старшина — стукач? Не связывайся с ним, я точно говорю: он гнида, в Вержболове попал в плен, выдал своих командиров. Один ефрейтор убежал оттуда, рассказал под секретом. Но нет свидетелей... Того ефрейтора убило под Шепетовкой.

Я был молодой, 22 года. Я начал кричать:

— Как это он служил у немцев? Его надо сейчас же сдать в Особый отдел! Может быть он вообще шпион!

— Хрен его знает! — сказал лейтенант. — Не кричи так. На фронте тоже есть длинные уши. Ну ты сдашь его, а он на тебя наклепает, что ты Сталина ругал, что его хочешь уничтожить, потому что он тебя в трусости выследил. Тебе крышка, а ему медаль. В Особом, у нас — капитан Валуйко, лучший друг. Евреев еще больше не любит, чем фрицев.

---

\* 58-я статья Уголовного Кодекса.

Миша сошел на Таллинской. У него была еще одна слабая надежда, очень слабая, но все-таки...

Он прошел домов пять по Кришьяня Барона, вошел под арку, увидел двор и в глубине двора еще дом с четырьмя подъездами, как описала Белла, Марькина жена. Над подъездами по белой известке красной половой краской были выведены номера квартир. 72-я значилась над крайним слева. Внутри оказалась лестница, которая вела наверх, и другая — вниз, а на стене той же красной краской было написано: 70, 71, 72, 73. Миша спустился по второй лестнице, оказался в коридоре, похожем на туннель, свернул направо и увидел третью лестницу, которая и привела его к дверям с табличкой (черное по золотому) — "Д-р Вольф".

— Как они сюда втаскивают мебель? — удивился Миша. В этом отношении их старый, безобразный деревянный дом куда удобнее. Хозяин строил его для себя, сделал лестницу широкой, с большой площадкой между первым и вторым — последним — этажом. Не его вина, что в 1940 году дом превратили в коммунальную берлогу.

Звонок в 72-й был из модных — с перезвоном. Сразу же за звонком раздался женский приятный голос:

— Кто там?

— Моя фамилия Комрат. Меня послал к вам Марик.

Дверь отворилась, Миша увидел длинный, узкий коридор с большим зеркалом на стене, оклеенной тисненными обоями, большую лампу матового стекла, вделанную в потолок на манер иллюминатора, и под лампой элегантную даму лет 45 в, безусловно, импортном костюме из кремплина.

— Прошу вас.

За коридором была комната с паркетным полом, разноцветными стенами красного оттенка. Здесь стоял темного ореха буфет, полный хрусталя, такого же дерева журнальный столик, на котором лежала стопка иллюстрированных журналов из ГДР на немецком языке. Был диван "углом" на шесть персон, две люстры чешского хрусталя с подвесками. Миша видел

такие в магазине "Электрон", на улице Петра Стучки, бывшей Дерптской; люстры стоили не меньше 900 рублей каждая.

— Готовимся! — сказала мадам Вольф. — В Израиле очень модно иметь по две люстры в комнате.

В ее голосе слышалась нескрываемая, но скромная гордость патриотки еврейского государства.

— По две люстры?

Миша знал от таких же патриотов, что в Израиле совершенно нет деревянной мебели, а только жалкие фанерные поделки, что туда обязательно надо везти спички, мыло и туалетную бумагу; про люстры он слышал впервые.

— Это обязательно, две люстры?

Мадам Вольф улыбнулась:

— Ну что вы...

Слава богу, в отличие от Аси Брониславовны, она не была категоричной.

— Я вас слушаю.

— Не знаю, даже, как объяснить. Дело в том, что у нас разрешение на выезд и два диплома. 8600 рублей...

— Ах, да! — сказала мадам Вольф и показала великолепные зубы в улыбке, — Белла говорила мне. Вам придется посидеть у нас, пока придет муж. Я включу для вас телевизор. Деньги — компетенция мужчин.

Она сочла свои слова остроумными и снова показала великолепные зубы:

— Хотите лимонада? Нет? Вы меня извините, мне нужно закончить перевод.

Она взяла со стола один из журналов и ушла в другую комнату, на ходу щелкнув включателем телевизора.

Аппарат, само собою, был с экраном 61 см, на ножках.

Время было детское, передачу вели из зоопарка. Ученый рассказывал о зверях Африки. Телевизор включился на том месте, когда ученый сообщил зрителям, что в прошлом году ездил в Конго и Мозамбик. И снова Мишу с неудержимой яростью ударил в сердце вопрос: почему он, гражданин самого справедливого и самого прогрессивного государства в мире, должен быть, по крайней мере, профессором, чтоб повидать Африку; а какой-нибудь негр из Пуэрто-Рико, которого

советская печать оплакивает и жалеет, почему он — несчастный — может пойти и купить билет на любой самолет и улететь в любую часть света, никому не сообщая, кем была его бабушка и с кем спал его дедушка до, во время и после революции?!

А ощутив в себе застарелое и все-таки всегда новое чувство личного оскорбления, Миша вспомнил разговор с Аликом Беляутдиновым и возвратился на 15 месяцев назад.

...Шел июнь 1971 года. Миша поехал в Москву навестить стариков. Он бывал в столице не часто, даже не каждые два года, и если уж выбирался, стремился вкусить как можно больше удовольствий: посещал Большой театр, выхаживал километры по Третьяковской галерее, платил и переплачивал, чтобы послушать Райкина, Ойстраха и повидать Плисецкую. Но уже в прошлые разы Миша возвращался с концертов с чувством обманутого ожидания, будто нажевался пробки.

На этот раз он долго кочевал по переходам метро "Курская", стоял, перечитывая афиши на киосках театральных касс. Всюду были "Огненные годы", "Пламенные сердца", "Пылающие факелы", так что хотелось не билеты покупать, а звать пожарных; либо же предлагалось посмотреть виденное-перевиденное: "Любовь Яровую", "Перелом", "Кремлевские куранты". По каждому из этих спектаклей Миша мог написать монографию, изобличающую авторов в чудовищной лжи. Не было залпа "Авроры", возвестившего революцию. Выстрелила одна пушка и та холостым снарядом, подавая матросам сигнал атаковать Зимний дворец. Не было доброго Ленина и Рыцаря Революции Дзержинского. Ленин собственноручно приказал Белла Куну физически истреблять пленных белогвардейцев в Крыму. Дзержинский отправлял русскую интеллигенцию в психиатрические лечебницы. Инженер Забелин мог, конечно, пойти к большевикам, увлекшись планом ГОЭЛРО, мог удостоиться аудиенции у Ленина (когда большевикам нужен буржуй, они и руку поцелуют у буржуя), но что было потом с Забелиными? в 1937 году их убивали без суда, в 1949 по суду ссылали на каторгу за "космополитизм", а сколько русской интеллигенции порешили во время великих чисток 1929-го, по "делу шахт" и "промпартии"?

Тогда не стеснялись, еще в 1936, на ХУІІІ съезде партии

Сталин бахвалился: "И я руку приложил к ликвидации контры!"... а потом спохватился. Великая социалистическая страна, провозвестник Царства Труда на всей земле, удивительно страшно походила тюрьмами и процессами на фашистскую Германию. И повелел Мудрейший из Мудрых, вождь всего человечества "изображать ЧК не только мечом, но и щитом". Погодин сочинил "Кремлевские куранты", Тренев "Любовь Яровую", пошли фильмы "Мы из Кронштадта", "Ошибка инженера Кочина". И стало непонятно, как это всепонимающая ЧК, умеющая так вникать в сумятные души интеллигентов, как это она устроила резню 1937-го? И если сам Ленин, и лично носился с трудоустройством неприкаянной души инженера Забелина, как же матросня и мужики при полном одобрении Советской власти погубили миллионы русских интеллигентов?

Миша не мог больше смотреть советскую классику. Оставалась классика русская, в начале революции охаянная, в середине — запрещенная, а под конец поднятая на щит, благо она принадлежала Великому Русскому народу, а русский народ долженствовал олицетворять самую богатую культуру страны, чтобы никто: ни латыши, ни грузины, ни армяне не смели сомневаться в плодотворности и даже спасительности руссификации СССР. Но и русская классика в последние годы стала для Миши в тягость. Режиссеры преподносили Островского и Чехова в такой интерпретации, будто великие на самом деле писали кровью и слезами лишь для того, чтоб показать, что Россия нуждается в революции, притом большевистской. Боли и муки, сомнения, ошибки, прозрения прекрасных людей, воплотивших образ России, ее величие и нищету, ее загнанность и окрыленность — все умирало на советской сцене, и оставались только ходячие штампы, разделенные на "плохих" и "хороших", "наших" и "ненаших". Плохие метались, пели "Очи черные" и не понимали Маркса, хорошие провозвещали революцию и выходили замуж за матросов. Это деление на хороших и плохих, наших и ненаших начиналось в школе.

Миша не мог забыть, как его дочь после урока русского языка в пятом классе спросила:

"Папа, Пушкина уничтожили фашисты?"

Оставалась эстрада, но и любимый Райкин больше не облег-

чал душу. Смех его отдавал плачем. Театр миниатюр годами клеймил одно и то же: хапуг и бюрократов, головоотяпов и вралей, рангом не выше управдома. Великая партия, организатор всех побед советского народа, по логике вещей, как правящая партия, повинная во всех неудачах, также была вне критики. Да и как могла быть подлежащей критике партия, чьи вожди сами себя называли Умом, Честью и Совестью эпохи?

Достаточно и этого, но вспоминая Райкина, Миша не мог не вспомнить ходивший по всей стране рассказ о том, что в Киеве, во время концерта артисту по сценарию полагалось спрашивать у зала: "Вот, скажите, скажите, кто я?" А из зала ответили:

— Жид ты пархатый, вот кто!

А через неделю поползло: "А Райкин-то! В больнице лежит! Оказывается, умерла его мать, так он ее в гроб и велел отправить хоронить в Израиль. А ОБХСС давай проверять, и что же? Все зубы у покойницы — золотые, в животе защиты бриллианты! Тут Райкина и ткнул инфаркт!"

(Знакомая дама, бывшая жена еврея, с 1963 года в разводе, клялась, что ей про Райкина под секретом поведали офицеры МВД )

Миша долго сидел перед киоском театральной кассы, так и не решаясь купить билет (можно было пойти в Большой, где шла "Жизель", но и она была виденна-перевидена), когда услышал знакомый голос:

— Милый, это ты ли?

## II

Перед Мишей стоял Алик Беляутдинов в серой милицейской форме с погонами подполковника.

Они обнялись и расцеловались.

— Ты почему в Москве?

— Приехал к старикам.

Слава те господи, а я уж думал поселился. Что-то не помню стариков.

— Ты их не знаешь. Отца моего родичи.



— Строгие? На ночь смыться можешь? Или с супругой здесь?

— Один. Это у меня отпуск учительский — 48 дней и выходные.

— Телефон у стариков есть? Ладно, от меня позвонишь. Я тебя арестую до утра. Шагом марш! Считай, так бог велел: я ж завтра улетаю.

Они встали на эскалатор, поехали вниз, сели в голубой вагон и сошли на Университетской.

— Зайдем в "Гастроном", — сказал Алик. — Горючего захватим.

— Стоп! — заявил Миша. — Плачу я. С меня причитается, погоны твои обмывать.

— А! Так это давно. Третий год с двумя большими.

— Но я-то тебя видел капитаном!

— Время! — вздохнул Алик. — Время старит вино и любовь, удлиняя мечты и разлуки. Бери коньяк, если хочешь. А я тем часом встану за колбасой.

Алик ушел занимать очередь в колбасном отделе, Миша встал в винном, спросил у дяденьки впереди себя:

— Какой коньяк самый приличный?

— Да никакого у них нет! Сербский виньяк туда-сюда, другое все паленая солома.

— А что, армянского нет?

— Те! Где ты сейчас найдешь армянский?

— В ресторане! — сказал продавец.

— С наценкой 50%? — язвительно спросил мужчина, стоявший за Мишей.

— Для советского человека и рабочего коньячку хватит. 90 копеек — три четверти литра, — вставил мужичок в кепчонке с пуговкой, по виду не то слесарь, не то работяга с трамвайных путей.

— Сделали цены! — сказал мужчина сзади. — 12 рублей за бутылку коньяка! Не захочешь, пойдешь рабочий коньяк пить. От него только что не слепнут, а так — денатурат чистой воды.

— А хоть бы и 12! — рассердился дядька впереди Миши. — Так ведь и того нет!

— Побаловались! — рассудительно сказал кто-то невидимый за спинами. Нельзя больше торговать в убыток. В Европе цены на питье высокие.

— Вранье! Я был. В Вене бутылка водки на наши деньги 2 рубля, а наш коньяк — самый лучший — 6 рублей.

— Господи, и когда это проклятое зелье запретят?! — запричитала старушка в черном плюшевом жакете. Она стояла уже почти у прилавка, передвигала по полу большую сумку с пустыми бутылками.

— Все пишут, пишут про вред алкоголю, а вона какую очередищу стоять! Жены, небось, дома разрываются меж детками и кухней... а мужики все здесь.

Продавец с интересом свесился через прилавок, оглядел старуху:

— А твой-то где, бабка?

— Да помер мой-то, печенью помер. Опился.

— Теперь сама туда же? Мужиков ругаешь, а вон какую сумочку принесла бутылок! Да тут рублей на десять тары!

Бабка чмокнула и развела руками:

— Свадьба! Сына меньшого выдала. Студентку взял. А сам шофер.

— Ну? — спросил продавец. — И пьет, заливает? Тебе бы надо безалкогольную, комсомольскую, в клубе.

— И-и! — сказала бабка. — Думаешь, не пьют? Сама уборщицей в Доме Культуры при Заборной. Как после свадьбы — полон тувалет осколков. Столько добра быють, ящичков пять бутылок!

— А ты, значит, решила на дому, чтоб тару не терять?! — под общий хохот спросил продавец.

## 12.

Миша думал, что Алик приведет его в гостиницу, а оказалось — в дом, такой же безликий, как все дома на той улице, застроенной по типовому проекту. И квартира была типовая, стандартная: прихожая, туалет, ванная, кухня и две комнаты с общей дверью. И мебель была без лица: вездесущий темного дерева с полировкой "Юбилейный" набор, в витрине тоже обязательный хрусталь — вазочка, графинчик. И телевизор "Электрон" на ножках.

Сколько видел Миша двухкомнатных квартир в новых домах, столько же видел "Юбилейную" мебель и "Электроны", и вазы "челноком". Только по книгам и можно было отличить хозяев, да по запаху.

В этом доме на полке стояли хилые тома, потертые от чтения: Лев Толстой (18 книг за 3 рубля), Некрасов в мягком переплете, но больше всего было переводных: Хэмингуэй, Фейхтвангер, Фолкнер.

— Толика книги, — сказал Алик. — Сестры моей, Нельки, муж. Уехал отдыхать в Болгарию, по путевке.

— Да? И Нелля с ним?

— Как же! Пускают у нас с женами! Работает Нелька. Вторую смену. Ты о себе давай, все в школе?

— В школе.

— Дойч? Имеешь полкласса и никаких тетрадей. А Нелька тащит, что день — портфель, мужику не поднять, а в каждом классе сорок гавриков. Может учитель за один вечер вникнуть в сочинения? Да у нее времени нет, чтобы грамматику исправить. А у нас все пишут: пора учителю изучать жизнь, передо-

вой опыт, пора учителю иметь творческую жизнь. "Учительская газета", "Литературная газета", кто не писал? А я смотрю, несчастная моя сестра, все ее на бумаге жалеют, все требуют для нее уважения и времени, а она в это время стоит в магазине или в дикой очереди за своим бельем, так что мудрых статей о себе не читает. Какая творческая жизнь?! Какие личности в учительской с окладом 96 рублей? А что мы делаем с детьми? Ты мне скажи, сколько часов положено работать по закону?

— Восемь.

— Ты работаешь восемь?

— Иногда.

— Я за тебя посчитаю. Шесть часов ты в школе, потом бежишь на дом к какому-нибудь идиоту, который не явился на уроки, потому что закон обязывает тебя нести ответственность за посещаемость, но ты же и обязан штудировать литературу, устраивать диспуты, проводить вечера, собирать макулатуру, а где еще педсоветы, профсоюзные собрания? Где дорога в школу и обратно?

— Я смотрю, ты разбираешься.

— Так я — отец. Верке моей 15 лет, а я себя спрашиваю, доживет ли ребенок до моих 50? Она уходит в школу в семь, сидит там в классе до 14, потом, придя домой, четыре часа — минимум — делает уроки. А ведь она способная, схватывает. А как быть тому, кто от природы неспособный? Тут либо сиди до горячки; и сидят, и болеют, ты погляди, какие у нас дети бледные, вверх только тянутся, как кукуруза в плохой год, а шири нет! Либо совсем перестают учиться, ходят, лишь бы от них отцепились; и вам же, учителям, потом с ними беда. А как иначе? Посуди: в 8 классе 13 предметов! И все надо выучить, по труду и то задают на дом выкройки. А где классные часы, комсомольские зачеты? Всякие шефства над пионерами и стенгазетами? А-а, не хочу, не буду, голова разрывается! Ты извини, сколько давал себе слов не муторить, не бередить душу, не могу — зацепишься и понеслось. Страшная у нас страна: за что ни возьмись, всюду концы не сходятся с концами и некому их свести. У тебя дети есть?

— Дочка.

— Не сердись, я знал, да забыл. В памяти места нет, столько

туда занесено всякого и разного. В этом году собственный день рождения забыл. Ко мне с цветами, а я спрашиваю: почему?

— Служишь все там же? — спросил Миша.

— Вроде. Если ты про Ташкент. Раньше я в Павлодаре служил.

— Я знаю. Я ведь приезжал к тебе туда. А что, Ташкент красивый город?

— Красивый. Не было счастья, несчастье помогло. После землетрясения на три четверти новый построили.

— Хорошая квартира?

— Да. Три комнаты. Соседи все узбеки.

— ?

— Я изменился, Миша. Сильно изменился.

Беляутдинов встал с дивана, позвал:

— Пошли на кухню. Кушать хочется.

Он повязался фартуком, ловко разбил о сковородку четыре яйца накрошил зеленого лука.

— Ловко ты!

— Примерный муж, — Алик улыбнулся. — Не могу иначе, Мишенька. Аня приходит с дежурства, когда в ночь, когда чуть свет. Кто же готовить будет? У нас, кто дома, тот готовит.

— Вот теперь я забыл, — сказал Миша. — Аня — детский врач?

— Гинеколог. Вышьем за наших жен!

— Мне чуточку, я почти не пью.

— Умница. А я — много. Жемчужным камнем цокаются слезы на дно глубинное питья... Тяжело мне, Мишенька. Гадко и тяжело.

Он налил полстакана коньяка, выпил разом, не закусывая.

— Почему ты не уезжаешь в Израиль?

Миша уронил вилку. Не потому, что перед ним сидел подполковник милиции и не потому, что вопрос звучал очень неожиданно, а потому что и сам себе десятки раз задавал тот же вопрос.

— Сложно это очень... — сказал он.

— Что именно сложно?

— Все. Механика подачи документов, хотя бы. Надо получить характеристику с места работы, и чтобы в ней было

написано, куда ты едешь, и чтобы стоял номер протокола общего собрания профсоюза. И вся школа будет гудеть, а у нас в Латвии учителей, надумавших уехать в Израиль, выбрасывают на улицу в тот же день. Нужно уплатить по 900 рублей за каждого взрослого... А возня с упаковкой багажа, поездка в Москву в Голландское посольство?

— Я тебе расскажу анекдот, — сказал Беляутдинов. — Если ты его знаешь, все равно послушай. К пану Ковальскому подошел секретарь партийной организации и говорит:

— Пане, предлагаю вам подписаться на заем развития Народной Польши.

— Развитие — это хорошо! А сколько будет стоить этот заем?

— 500 злотых.

— 500 злотых? Езус-Мария! Да это же половина моей зарплаты!

— Вы меня удивляете, пан Ковальский! — говорит секретарь.

— Речь идет о развитии страны! Вы получите свои 500 с замечательными процентами! Или вы не верите в развитие нашего социалистического строя?

— Боже упаси! Как же не верить! Но ... я, конечно, извиняюсь, а вдруг что-нибудь? Ну, там землетрясение. Стихийные бедствия. Застой, не дай бог.

— Чепуха. Заем гарантирован всем достоянием нашего государства. Нашим золотым запасом.

— О! Золотым запасом! Это замечательно. Но ... а вдруг золото упадет в цене?! Или, не к вечеру будь сказано, министр финансов, того, убежит на Запад?

— Ну если уж вы не верите стабильности валюты Народной Польши, ее золотому запасу, так знайте, что наш заем, как и государство в целом, гарантирует великий и могучий Советский Союз, лучший друг польского народа и его независимости!

— А, вот как! — закивал пан Ковальский. — Это меняет дело. Но ... если вдруг что-нибудь случится с великим Советским Союзом? Я понимаю, понимаю, сибирский лес, волжская рыба, а все-таки... Великий Рим был еще больше, Александр Македонский был еще богаче. Что будет с моими 500 злотых, если не дай бог, рухнет СССР?

— Ковальский! — закричал партийный секретарь. — И вам не стыдно? Пожалеть каких-нибудь 500 несчастных злотых, когда речь пошла о гибели Советского Союза?

Ты знаешь, Миша, я никогда не был юдофобом, но теперь я вас не понимаю. Какие 900 рублей?! Какие характеристики? Догола надо раздеться, на все четыре стороны отбросить всякий стыд, когда речь пошла о том, чтобы выбраться отсюда! Перед вами, единственным народом этой чудовищной страны, открылась щель в железном занавесе — удирайте! Напирайте, рвитесь, уходите на свежий воздух! Нормальный человек не может цепляться за тюрьму, куда его бросили ни за что, ни про что!

### 13.

— Ты изменился! — сказал Миша. — Очень изменился.

— Они меня изменили, потому что изменили тому знамени, которым размахивают. Когда мы с тобой встретились в той яме под Ростовом, для меня не существовало русских, татар, евреев, немцев. Для меня существовали пролетарии и капиталисты, коммунизм и его враги. Сталин показал мне, что можно уничтожать людей только потому, что они родились татарами или немцами. Мы оба видели с тобой, Миша, что делало НКВД в Джанкое. Целые семьи были расстреляны на месте. Нам говорили: это потому, что они задумали предать Крым Турции. Нам говорили: все немцы враги СССР. И мы верили, что это справедливо, когда немцев Поволжья угоняли в Казахстан. А я в Германии встречал немцев американского происхождения, они служили в армии США, их почему-то не ссылали на Аляску. Они почему-то не были объявлены врагами Америки.

День ото дня, год за годом я слышу здравицы в честь Великого русского народа, песни, прославляющие старшего среди равных Советских братьев, его богатство духа, его замечательную талантливость, храбрость, красоту и т. д., но когда в какой-нибудь национальной республике начинают говорить о своем духовном богатстве, о своем гостеприимстве, партия объявляет эти разговоры буржуазным национализмом.

Каждый день радио и телевидение передают из Москвы на всю страну песню "Любите Россию", но что случится с казанским радио, если оно передаст песню "Любите Татарию"? Я учил стихи о величии русского народа, но я не смею заикнуться о величии татар. И если уж мы, народы, живущие в СССР, на самом деле братья, так почему я и ты, и эстонцы и латыши обязаны говорить и мыслить по-русски, на языке одного из народов страны? В союзе равных должен быть другой, общий язык, только не русский! Но ты попробуй заикнись об этом! Попробуй предложить, чтобы ввели всесоюзным языком латынь, греческий или эсперанто! Тебя живо спровадят "куда надо".

За национализм, разумеется, нерусский, исключают из партии, клеймят позором; тысячи людей пошли в тюрьмы и лагеря только за то, что не понимали, чем русский алфавит лучше для туркменского или татарского языка, чем арабский, на котором писали сотни лет наши прадеды? Тысячи людей сгнили на каторге только за то, что они хотели читать свою древнюю литературу в подлиннике. Но нет, народы, создавшие цветущие края в песках, воздвигшие мавзолеи, обсерватории и города, когда на месте нынешней России были волки, таджиков и узбеков заставили перенимать русскую азбуку и русскую культуру! Сколько людей ушло на тот свет, когда академик Виноградов переводил молдаван с латинского шрифта на кириллицу? Да нет такого языка — молдавского! Есть диалект румынского, как есть диалекты русские, но никто не додумался утверждать, что смоленщина говорит на "смоленском", а волгари "на волжском"! А молдаван заставили заговорить на молдавском. Нужен был материал, доказывающий право России оккупировать Бессарабию. И это называется Ленинской политикой дружбы народов?!

Беляутдинов с ненавистью оттолкнулся от стола, вскочил.

— Я работаю в милиции с 1950 года! Я переловил тысячи жуликов, убийц и спекулянтов. И я тебе скажу: нет жулика более бессердечного, чем русский, нет убийц более жестоких, чем убийцы русские. Я изучил бухгалтерское дело и химию, чтобы разоблачать кабинетные аферы, и снова вижу: самые гадкие, самые жадные, самые варварские вещи совершают

русские. Это они принесли в Среднюю Азию, не знавшую еще в 1914 году что такое вор-надомник, это они принесли блатовство, поножовщину, бандитизм. Носители просвещения! Хорошо, хорошо, я знаю, есть Солженицын, был Пастернак, есть множество прекрасных, настоящих людей среди русских. Русская интеллигенция всегда клеймила антисемитизм, шовинизм, национальное чванство, всегда была бессеребряной, но где она, русская интеллигенция?! Это нам только кажется, что каждый, кто окончил ВУЗ и говорит по-русски -- русский интеллигент. Ее убили! Выкорчевали с корнем. Потому что русская интеллигенция по духу своему не подходила для казарменных порядков. Она не понимала, почему одна партия может оказываться всегда правой, и чем это лучше царского самодержавия? Нет больше русской интеллигенции, она умерла. Есть интеллигенты советской закваски, говорящие по-русски, иногда среди них попадаются ненормальные с мышлением Чехова или Короленко. А меня заставляют преклоняться перед всем русским, понимаешь? Перед русской грязью, ленью, национальной всеядностью, перед этим врожденным русским покорством насилию и насильникам, даже перед русской масленицей. Каждый раз, когда я именем Справедливости и Закона обязан железной рукой сцапать русского, я спрашиваю себя, а сколько это в процентах? Русских не может быть в преступниках больше, чем позволяет их процент по отношению к населению данной местности в целом.

14.

— Вы ко мне?

Перед Мишей стоял чернявый, в мелких локонах еврей, гладковыбритые его щеки отливали синим. Глаза у доктора Вольфа тоже были синими, как и его костюм, очень дорогой, явно не здешний. Доктор носил голубую нейлоновую рубашку (высший шик в СССР) и красный галстук с синим подсолнухом.

— Рафаил, это тот человек, про которого нам говорила Белла! — крикнула из глубины квартиры мадам Вольф.

— У вас есть разрешение на выезд?

— Да.

— В каком списке?

— 18 сентября.

— Сколько вам надо?

— 9 тысяч.

— Ваши гарантии?

Миша пожал плечами:

— Не знаю. Мое честное слово. Какие еще могут быть гарантии?

— Честное слово — не товар. У вас есть родственники за границей?

— Да, в Израиле.

— Они могут выложить за вас 27 000 лир? Они выкладывают деньги завтра, послезавтра вы получаете у меня 9 000 рублей.

— Извините, — сказал Миша. — Я отнял у вас время.

— Я не могу рисковать, — холодно сказал доктор Вольф. — Я зарабатывал свои деньги трудом.

Он поклонился и ушел в другую комнату.

Мадам вышла проводить Мишу.

— Вы не должны сердиться на него. Он отправил в Израиль сына и хочет обеспечить мальчику машину.

— Я не сержусь. Деньги ваши, не мои.

На улице он усмехнулся, покачал головой:

— Если я когда-нибудь все же попаду в Израиль и расскажу, как это было тут с деньгами, наши рижские же патриоты еврейства наплюют мне в глаза. Как они могли одолжить кому-то хоть рубль, когда в Израиле совершенно необходимо иметь по две люстры в комнату?!

## 15.

— Эй, Комрат, квартира платила?

Ну и голос был у этой дворничихи! С таким голосом парадными командами командовать на Красной площади! Дворничиха шваркала новой метлой на углу, возле табачного киоска, а Миша стоял на троллейбусной остановке на той стороне улицы, но она настигла его голосом и точно метлой провела по лицу. Вся

Пернавская должна была знать, платил Комрат за квартиру или не платил.

Миша вжал голову в плечи, укрылся в магазине. Там стояла очередь, человек двадцать: давали кур. Птица была синяя, обморочная, из холодильника, по рублю семьдесят за килограмм. Люди копались в груде кур руками и глазами, отыскивали что получше, без недовыдерганных перьев.

— Во роются! Во роются! Уголь копать идите, а не здесь! — ярилась продавщица. — Барыни, за рупь хотят купить, как за 2,50!

Ей было выгодней распродать дорогих кур, тоже синих, но с обильным жиром.

— Здравствуйте, Мойсей Григорьевич!

— Это вы, Антонина Павловна? Как дела? Что Юлечка?

— Слава богу, в Политехническом. Уж я намучалась, уж наревелась! Шесть человек на одно место! Я уж жалеть начала, что уговорила ее поступать. Шла бы в техникум, там легче.

— Легче! — сказала женщина в черном платке. — Сидят вон в тюрьме, вся приемная комиссия Торгового. А в прошлом году скольких пересажали из Кооперативного?

— Из Политехнического института тоже сидят. Суд идет. 12 человек!

— 12 — это что! В Москве в прошлом году 400 профессоров взяли на цугундер за взятки! — сообщила женщина в пальто с потертым меховым воротником. — Целыми бандами орудовали.

— Пишут про них, про взятки, каждый год фельетоны, а как брали, так и берут! — вклеил дядька в берете и плаще "болонья".

Миша знал дядьку; он работал слесарем в домоуправлении, ни одной работы не делал без магарыча ценой в пол-литра. И женщину с меховым воротником он знал; она работала приемщицей в прачечной. У нее было семейное горе: дочь разводилась и часто приходила к маме жаловаться на бывшего мужа: негодяй, отключил телефон, теперь он доказывает, что телевизор куплен на его кровные деньги. Какой-то Мошечкин не дает выписку из протокола, а на работе какая-то Желтухина пускает сплетни... И дочь, и мать были высокие, крупные, с

мужскими лицами и голосами, от этого сочувствие клиентов к ним возрастало — все понимали, что еще раз замуж молодой не выйти. А жалобы ее текли в разверстые уши очереди, сидящей с чемоданами, чтобы сдать белье после работы. Приемщица от рассказов дочери волновалась, путалась в счете, очередь покорно терпела. И Миша говорил себе, что это как раз и есть хорошая сторона советской жизни: люди всегда спрессованы очередями, коммунальным бытом, личное горе неизбежно становится всеобщим достоянием, а на миру и смерть красна. Чем-чем, а публикой, притом сочувствующей, дающей советы и утешение, советский человек обеспечен.

— А чего им не брать? Сами мы виноваты, каждый своего ребенка старается в институт протащить! — рассердилась Антонина Павловна. Родители бы не радели, все было бы по-честному!

— Жди! — дядька сплюнул. — Будут тебе люди честными! Денежки надо брать за обучение. Учись — плати, сдал все экзамены — получай обратно.

— Ага! — вскипела женщина в черном платке. — Они и тут не оплошают! Станут жульничать при выпускных экзаменах. Комсомольские патрули надо при комиссиях назначать, пусть сами студенты пополнение в свои ВУЗы принимают.

— Конкурсы надо отменить! — неожиданно пробасила продавщица. — В Югославии взяли и отменили. Мне сосед рассказывал, он там год на верфи корабли принимал. Хочешь учиться, говорит, всех принимают, только после учебы давай плати или отработывай.

— Теперь с евреев берут за дипломы! — выпалила женщина в платке.

Продавщица подняла голову:

— Как это с евреев?

— А когда они уезжают в свой Израиль. И правильно! Мы их учили, одевали, они русский хлеб кушали, а теперь едут в Израиль служить капиталистам. Я бы с них еще брала за техникумы и школу!

— И за поликлинику, и за трамвай, и за хлеб, и за воздух! — сказал Миша.

У него вырвалось нечаянно, он стоял злой, с пятнами на лице, досадуя на свою слабость.

Женщина в черном опешила:

— Вот тебе! Русский, а за евреев заступаешься?

— Не стоит судить о таких вещах! — примирительно сказала Антонина Павловна. — Правительство само решает, что нужно. А то мы все ужасно умные.

Миша пересчитал деньги. Оставалось при нем рубль сорок пять. Можно было попросить продавщицу разрубить курицу пополам, может продавщица и согласилась бы, но дома не было ни жиров, ни хлеба, а как кормить Тамару? Хана в такие мелочи не вдавалась. Когда она бывала охвачена идеей приобретения подарка, особенно для людей, живущих куда богаче нее, мир отступал, существовала только одна цель: купить и потрясти, и ради этой цели Хана могла укатить в Слоку или в Саулкрасты, просадить все, что было при ней, а потом ввалиться домой и сходу спрашивать:

— Что есть покушать?

Миша вышел из очереди за курами, перешел в другой отдел; там человек десять ждали колбасу. Миша купил самой дешевой — кровяной с гречневой кашей, по 40 копеек килограмм, пачку самого дешевого маргарина за 28 копеек.

Антонина Павловна тоже перешла в колбасный:

— Не выстою я курицу! В два у меня урок, хоть колбасы возьму. Юлечка теперь поздно приходит, все на занятиях, да и не пускаю я ее в очереди, еще настоится, как замуж выйдет, а сейчас пускай учится. А вечером после уроков у меня уже сил нет стоять...

— Вы теперь в нашем районе?

— Да, в 73 средней, у Градецкого.

— Разве Градецкого не сняли? Говорили у него растрата.

— Ложь это все! — с сердцем сказала Антонина Павловна, ее седые букли затряслись. — Это все Павлова копала, не хочет завучем, хочет в директора. Но коллектив вступился, делегацией ходили в райком. Очень хороший человек Василий Яковлевич! Душевный, тихий. А то у нас как? Кто много кричит, красивые слова говорит, тот пробивается. А вы совсем от нас ушли, Мойсей Григорьевич?

Миша виновато улыбнулся:

— Не могу. Нервы. Голова болит целыми днями. Нельзя мне в школе.

Он подал руку Антонине Павловне. Они проработали в одной школе больше десяти лет, он был на свадьбе ее старшей дочери, с пятого класса воспитывал младшую — Юлечку. Ему было больно за свое вранье, но он боялся говорить Сердюковой правду. Она была добрая душа, но ее политическое мышление не выходило за рамки того, что предписывала партия. Печатное большевистское слово она почитала правдой в ее окончательной редакции.

16.

Выйдя из гастронома, Миша Комрат увидел впереди себя на тротуаре знакомую высокую фигуру с палкой и большим портфелем.

— Василий Иванович!

— Майн фройнд! Давненько мы не виделись!

— Какими судьбами в наших палестинах?

— А все за бизнесом гоняюсь, грешный человек. Вот посетил одного попа, продал евангелие на латыни.

— Здоровье как? Нога?

— А черт ее возьми, ногу. Вот взял и выписался из больницы. Что она там опухала, что на воле. А у тебя что, человече? Слышал я кое-что. Меня старого нет-нет, кто-нибудь да навещает из 79 школы.

— На заводе работаю. Слесарем. То есть работал до 27 июня.

— Пойдем, посидим! — сказал Василий Иванович.

Они перешли Пернавскую, сели в скверике. На соседней скамейке два пьяных латыша допивали пиво, бутылок пять уже валялось на песке. Хлеб и селедка лежали на газетке, как раз на портрете Брежнева.

— Sic transit gloria mundi! — при фатере Иосифе Виссарионовиче портреты высочайших особ были неприкосновенны. Значит с 27 июня ты подал документы по второму разу?

— Теперь уже есть разрешение на выезд. Моя фамилия в списке на двери номер 8.

— Совсем не знаю вашего директора Тимохина, — сказал Василий Иванович. — Читал тебе нотации?

— Зачем? Он слишком приличный человек, чтобы я делал из него антисемита. Я пришел к нему с заявлением: "Прошу меня уволить в связи с переходом на другую работу". Он посмотрел на меня и говорит: "Дальше что?" Я ответил: "Характеристику". Он пожевал губами: "Хорошо. Послезавтра". Вот и весь разговор.

— Куда характеристику, не спрашивал?

— Нет.

— Очень хорошо. Собрание собирали?

— Нет. Без меня обошлись.

— Умные люди.

— Да. Зина, наш секретарь партийной организации, женщина с головой, зачем ей угли раздувать, чтоб дым в райком полетел? А профсоюзная голова, да вы ее помните — Захаркина — сама бы укатила, куда глаза глядят, лишь бы ей там можно было одеться.

— В учительской, конечно, знали?

— До меня одна учительница уже уходила; молодая, физик, так при мне в учительской никто ничего, только Чакарь начала речь: "Предатели, ничего им не дорого, как им детей не стыдно"...

— Ну, Чакарь всегда отличалась умом дальней дистанции. Ты перед Новым годом уходил?

— В марте. На каникулах. Довел класс до четверти, выставил все отметки, в поход сходили на природу. Потом ушел.

— А дети знали?

— Вот то-то же! Я думал они не знают, сидел с ними, оценкиставлял, вечер сделали, потом в лесу совсем одни были, никто ничего. Только на пути домой, в поезде Шура Теплова мне сказала: "А вы в Израиль уезжаете?" Я растерялся, спросил, откуда она взяла. Оказывается, наша секретарша трепалась.

— Красиво. А Тимохин, правда, умница. Сколько же ты после заявления работал?

— Две недели. Честь по чести. Тимохин мне сказал: "Зачем тебе бежать, будто с пожара? Характеристику бери, а класс

дове́ди до каникул. Тебе ведь полмесяца зарплаты тоже пригодятся!”

Когда господь собирается наказать страну, он посылает ей правителей со ржавыми мозгами. Здоровому человеку это должно казаться диким! Я понимаю, советский гражданин просит характеристику, чтобы поехать, покататься по белу свету. Тут может быть и рационально обсудить человека: что за птица, стоит ли он подарка, коль поездка за рубеж у нас невеста какая редкость. Но люди собираются уехать навсегда, бегут в другой мир, какая может быть характеристика?! Что изменится, если ты не платил взносы в ДОСААФ или жил с чужой женой?

— Так ведь вся церемония с характеристиками только и нужна, чтобы раздувать страсти. Так и вижу, сидит в Москве, в каком-нибудь огромном кабинете с пальмами в кадках некто с квадратной челюстью и потирает руки: “Ах, как придумано! Пускай эти евреи пробуют уехать!” Как вы сказали, здорового человека должно стошнить от одной мысли, что соберут собрание, и каждый, у кого чешется язык, волен поливать тебя, как грядку, навозом. Вы можете себе представить, что сделает такая Чакарь или Головкова, дай им судить меня!

— Крик черни! — сказал Александр Иванович. — Как низко они пали.

— Они просчитались, — сказал Миша. — Каждый умный начальник хочет, чтоб обошлось без шабаша ведьм. Умный начальник спрашивает своего еврея тихо, пишет характеристику за закрытыми дверями. Эта чугунная система работает сама против себя: каждый начальник, у которого уехали евреи, несет партийную ответственность за плохое воспитание коллектива. Начальники норовят сделать так, чтобы райком не мог придраться. Вот я — сперва уволился, потом выбрал характеристику. Тимохин с Зиной за меня уже ответственности не несут.

— Не-ет, майн фройнд! Не обольщайся! Чернь есть повсюду, и среди начальства. В 23 школе два часа песочили молодую учительницу, может ты ее помнишь — Хая Поль, физик. И уволили по статье 106 “За аморальное поведение”. Хочешь в Израиль — значит аморальна.

— Один мой знакомый математик добрался до прокурора республики, хотел выяснить, на основании какого закона его уволили из школы. Он знал, что кончится ничем, но хотел видеть лицо прокурора, оправдывающего беззаконие. Он пришел и спросил: "На каком юридическом основании меня уволили?" И прокурор ответил: "По закону вы правы, но у нас в прокуратуре не то место, где судят государство! Чтобы вы знали: я — коммунист, не поощритель предателей советского народа, желающих уехать в Израиль."

— Хорошо! — сказал Василий Иванович. — Зер гут. — Кто хочет покинуть здешний рай, тот предатель. Значит, в хорошую компанию ты попал, мой друг, в очень хорошую и многолюдную. Ты мне, старому латышу, поверь. Если бы завтра открыли границу, чтобы выпустить всех, кто хочет, я бы скорехонько залез на дерево, чтобы меня не задавила толпа. Ну, а с завода как тебя выставили?

— Ну, тут все было в высшей степени патристично. Мой начальник цеха иудей, с таким иудейско-римским носом, что даже паспорта не нужно. Коммунист, само собой. Порядочный, тоже само собой. Он меня честно предупредил: "Я тебя на собрании разнесу, но ты же понимаешь, у меня четверо детей..." И ведь на самом деле, я его понимаю. И на дом к нему пойду прощаться, и он мне, того гляди, подарок даст для кого-нибудь из друзей в Израиле, чтобы я отвез. А на собрании, конечно, говорили речи, протокол написали на шести страницах: "Наш великий советский народ, занятый строительством коммунизма — светлого будущего всего человечества, сплоченный, как никогда, вокруг своей родной коммунистической партии, идет навстречу 55 годовщине Великого Октября, воодушевленный и вдохновленный предначертаниями XXIV съезда КПСС", ну и так далее, а в самом конце про меня: "Исключить предателя Родины Комрата М. Г. из рядов рабочего класса и профсоюза, а также просить дирекцию об увольнении Комрата М. Г. с завода по статье 47 "г".

— 47 "г" — кажется несоответствие занимаемой должности? А потом?

— А потом? Потом, кто руку жал, кто охал, кто говорил:

“Исхвать, не обращай внимания”. А кое-кто и отворачивался, будто меня нет. Идиотов повсюду много.

— Трусов. Все это держится только на трусости. Впрочем, истина сия стара, майн фройнд. Государства существуют на земле 8000 лет и столько же длится борьба между диктатурами и демократией. Человечество учится очень медленно. Иногда заходишь в тупик. Были Афины и Спарта, были падение Рима, Цезарь, Наполеон, был Гитлер. А вот же, существует огромная империя с диктатурой, к тому же почти анонимной, с цензурой, лагерями, умерщвлением духа, а тысячи профессоров и прочих теоретиков готовы день и ночь доказывать, что именно этот режим и только такой — благодеяние для народа.

— Одна империя? А Китай? Китайцы еще больше, чем европейцы, должны знать, что диктатура никогда не может быть лучше демократии. Кажется, так просто: нормальный человек должен любить свободу, должен хотеть, чтоб его мнение было полноправным, даже если он ошибается. Демократия обеспечивает ему самые ценные права духа...

— И неприкосновенность брэнного тела!

— И неприкосновенность тела. А диктатура все попирает. Весь народ обязан думать, как велит любимый и родной ЦК, чуть не так посмотрел — тюрьма, за границу не ездят, через забор к соседям не гляди, и терпят. И еще находят радость, какое-то рабское удовольствие в лизании пяток вождей. Разве у нас не та же система фюрерства? По-немецки вождь — фюрер, а у нас вот сколько вождей: товарищ Ленин — вождь трудящихся, партия — вождь народа. Только у немцев это длилось 13 лет, а тут...

— Несчастный народ русские! — сказал Василий Иванович. — Тысяча лет государственности и три недели относительной демократии, пока Керенский не был вынужден объявить большевикам войну... Иногда собираемся, никому не нужные, старые и больные латышские учителя, спрашиваем себя, как в дурном сне: мы-то при чем? Было государство, была своя, хорошая, плохая ли, но независимость, а пришли с танками, оккупировали и не уходят. Впрочем, это уже высокие материи, так можно добраться и до вопроса, где же ООН? А я хочу спросить, где деньги? Сколько с тебя теперь?

— Куча. 8600 за образование. С меня три тысячи, я — заочник, а с жены 5600, она кончала дневное отделение.

— Я тебе дам 500 рублей, как в песне "А на большее ты не рассчитывай". Но 500 дам. Когда придешь, получишь.

— Василий Иванович!

— Уже 67 лет.

— Я возьму. Увижу, что есть смысл брать, возьму. И я отдам. Но как? Хотите посылками? Марками? Переводом?

— 500 рублей. На что мне посылки? Я продаю свои книги. Продал диван, продал буфет. Очищаю место. Не хочу, чтобы после моей смерти родственники дрались за имущество.

— Я не знаю, можно ли оттуда переводить деньги.

— Найди пути. А не найдешь, бог с ними. На моей странице Господь начертает лишний плюс. Душно здесь. Страшно. Живешь, как в прокуренном телятнике. Дверь заколочена, на окнах проволока. Вагон ржавый, его трясет, мотает, встанешь на цыпочки, увидишь краешек неба, деревья, иногда людей на взгорке, лошадей. Там — жизнь, города, воздух. А тебя везут неизвестно куда, охранники день и ночь палят махорку, а жестяной репродуктор орет, как хорошо тебе ехать, какой у нас прекрасный паровоз и какой был великолепный машинист товарищ Ленин.

## 17

На кухне старуха жарила лук. Она рубила его секачом на толстой, яблоневого доски — приданое на свадьбу в 1916 году. На газе стояла сковорода "Мельхиорового заводу", с обломанной ручкой, купленная бабкой бабки "у день коронацыи Александра Блаженного", то есть Александра Третьего "у самом Кыиву". Матрена ругала матом доску и сковородку, старуха же упорно продолжала ненавидеть "у цэ новэ"; возможно, потому, что "новэ" было хуже старого: на старой сковородке не пригорало, возможно, потому, что новое принадлежало дочери, а дочь свою старуха ненавидела может быть не меньше, чем зятя. "Для чого вин ий голову морочив? Ему було вже сорик, а ий, осьмнадцать. Ни водна жинка его ни брала, а моя побигла жоньтыся"...

Теперь Гаврюхе было 63 года, Матрене 47, выглядела она его ровесницей, Миша никак не мог вообразить Гаврюху молодым, хотя видел фотографию, снятую в мае 1941. На карточке чинно сидели выпускники метеорологического техникума во главе со своим учителем — Гаврюхой. Матрена скромно стояла в уголке, толстая с густыми косами.

Пожились они в 1944, когда Красная Армия вернулась в Кобыляки. Миша сильно подозревал, что не Елена "побигла жоньтыся", а мать погнала ее. Старуха, при ее жадности, должна была усердно служить немцам, хотя и уверяла, что "только чистила ихним офицерам сапоги". Но были у нее в сундуках вышитые скатерти с еврейскими монограммами. Старухе нужен был зять из красноармейцев; Гаврюха же был тогда старшиной в трофейной команде, а это значило при хлебе и денежном аттестате да еще как бы распространял над семьей тещи защитную длань.

— Приходил тут один до вас! — сообщила старуха. — Казавще придет.

— Высокий? Старый?

— Да хибя же я бачила? Вочи не видють ничего, а вин стояв ось тутечки, биля вашей двери.

Миша не мог придумать, кто бы это был.

— Он у нас бывал раньше?

— Ни. Я ж не дывлюсь, хто до вас ходит. Марика знаю, Нухима. А того ни. Мабуть и бачила десь, так я не помню. Сахар поднявся, память отнимаэ.

Миша нарезал колбасу кружочками, разогрел маргарин на сковородке, бросил колбасу в жир, раздавил ложкой, пока она растаяла; нарезал хлеба, помазал хлеб растаявшей колбасой.

— Память в мэне зовсим отшибло! Пишла я до врача, а що казаты, забула. Голодная я. Того не можно, другого... а серье просит! Не выдержишь, зыш картошечки, ще и хлиба, а потим голова дурна, жолудок болыт.

Миша вскипятил чай, заварки не было, он выпил кипятку с сахаром. Бесконечный рассказ старухи воспринимался, как рокот волн, если живешь у моря, или стук колес, когда едешь в поезде. Иногда он вслушивался в долгие повествования и

ужасался подробностям советской жизни, которых, к счастью, не ведал, так как Латвия до 1940 не входила в состав СССР.

— Уси едут, уси! — говорила меж тем старуха. — Теперь хвотограф Иося едет. Хороший був хвотограф, какие карточки робыл! Покойного Иова мово, як живого сделал. Вин для мэне без квитанций робил. В мэне много знакомых евреев було. Покойный Файнштейн, тридцать лет не виделись, устрел, обнимал, целовал. Я в них экоиомкой служила, все ключи в мэне були: от сахару, от керосина.

— Это когда же было? — спросил Миша.

— Що було? Файнштейн? Та посля революции, той був, як его, НЭП. Мы тоди в Шепетовке жили. Толичка в мэне родився. А теперь Файнштейна сын уехал, мне сестра писала.

— Дорогое удовольствие ехать! Мне, если трогаться, 12 000 надо.

— Мучаются люди! — закивала старуха. — Пив мира скачет, пив мира плачет. — И высоким, сильным еще голосом запела:

Ой, чего я, мамочка, плачу?

Чего я рыдаю?

В чужих людях нема жалости.

Одна пропадаю.

— Скажите, бабуса, вот, когда революцию делали, как вы думали, лучше будет жизнь?

— А як же! Веровали. Мы тоди в Харькове жили. Иов мий покойный, в трамвайному депо робив, так на усих вагонах малювали серпи та молоти, буржуив били.

— Как же вы в Харькове очутились? У вас же была земля, дом на селе.

— А мордувалы. Грабили. Солдаты бигли с фронту, голодные. Банды. Коров уводили. Людей.

— А потом что? После революции домой вернулись?

— Да ни. Мы у Кобыляках жили, в городе. Огород у нас був, пид горой. Там Васенька мий родився.

— Не пойму я у вас ничего! — сказал Миша. — То у вас дом был, корова, дачников принимали. То, оказывается, только огород под горой.

— Так воно опосля. Опосля була дача. Сами строили. В



голодный год. Як хлиба не було. Что в Кобыляках исты? Камни не зыши.

— Значит, всё же на старое место вернулись?

— Ни. Я ж говорю: мордувалы. Своих усих поубивалы. Кто у красных, хто у билих. А ще булы зеленые. На сели комбеды орудовали. Комитеты бедноты. Людей вничтожали. Помещика Якименко косами посекли. Хороший був помещик; в кого пожар случится или што, говорит: "Бери мово лису, сколько надо, одашь як сможешь". Школу у сели построил. Ламболаторию.

— За что же его убили?

Старуха рассердилась Мишиной глупости:

— Так революция ж була! А вин помещик.

— Э, нет! — сказал Миша. — Причем тут революция? Вы лучше скажите, сколько у Якименко добра украли те, кто его убивал. Ведь украли?

Старуха закивала:

— Ой много! Все за проклятое богатство. Одеяла, скатерти, фаянс — усе потягли. Одни його косами секут, другие до кимнат бигут, телеги нагружают. Якименко бедный христом просит: "Добейте мене, люди!", а вини косы покидалы, сами до дому побигли грабить. Уполз Якименко.

— Уполз?

— Ага. Живый ушел. Потом вже помер вит ран.

— Мамо!

Крик пересек пустынную прихожую, прогрохотал по проходной, ударился, сверлящий и надрывный, о дверной косяк:

— Мамо! Довго вы будете лясы точиты? Дитяти исты время!

— Старуха поспешно всыпала жареный лук в борщ, зачерпнула поварешку, налила в эмалированную мисочку, понесла в комнаты. Через всю проходную, через прихожую, пока не скрылась за железной дверью с четырьмя замками. Гаврюха сам обил дверь в свои комнаты железом, сам колдовал над каждым замком. И внутри, за железной дверью, у Грижаней в каждой двери стоял замок, и каждый прятал свой ключ и запирался. Старая, молодая и средняя прятали ключи друг от друга, у каждой была своя связка, и ходили они с ключами, мечеными разной краской, чтобы не спутать. Но что комнаты! Десять лет назад еще стояла в кладовке при кухне грижаньская бочка квашеной капусты, а на бочке — замок. И на кастрюлях было по замочку, но очень уж старуха путалась, роняла замки в суп. Гаврюха снял их, но еще долго, очень долго, мерила Матрена ложкой, не снял ли кто из соседей навар с ее борщей.

Миша посмотрел на дверь, Тамара должна была прийти с минуты на минуту. Он поставил чайник на газ, нарезал колбасы, достал из буфета последнюю баночку варенья. У Миши тоже была связка ключей, он таскал ее с собой, она рвала карманы, но когда Комраты попробовали не запирасть буфет, начали пропадать бутылки, молоко, сахар.

Миша устал, хотелось лечь, но он боялся, что придет дочь, разбудит, и тогда сердце разболится еще пуще, а он вечером хотел предстать перед Марькиной компанией в хорошей форме.

— Где же эта девчонка?

Он прислушался, внизу хлопнула дверь, потом долго возились с тремя замками на входных дверях, и еще с порога Тамара закричала:

— Папа, жрать хочу!

— Не кричи! Сколько можно просить не кричать? Там может быть Танечка спит.

— А почему они орут у нас под дверью, когда мы спим?

Не мог же он пускаться в объяснения, что Грижани въехали в квартиру первыми, когда дом принадлежал еще метеорологической службе армии, что в то время тут было общежитие; кроме Грижаней жили восемь солдаток, которые не готовили дома, и детей у них не было, а у Грижаней была Варя, и они поставили в проходной свой обеденный стол, построили здесь же фанерную кладовку и так и продолжали жить в комнатах, а обедать в проходной, прямо напротив дверей Комратов, а обедая — кричать... Впрочем, они орали за столом и утром, и вечером, и ночью...

— Мы — европейцы! — сказал Миша. — Ты хочешь быть такой, как они?

— Я жрать хочу! Я ухожу к Оле. Мы ответственные за стенгазету к 7 ноября.

Девочка ходила в школу, как и раньше, а значит ей поручали всякие общественные, пионерские дела. С детей до 16 лет, то есть без паспорта, в ОВИРе не требовали характеристику, а Мише совсем не хотелось, чтобы в школе узнали о его намерении уехать из СССР. Классная дама 7-го "б" вполне была способна устроить судилище и снять с Тамары красный галстук под улюлюканье своры антисемитов, которых в классе было предостаточно.

— Ладно. Делай газету.

— А мы уже почти закончили. Написали про залп "Авроры", что надо хорошо учиться, как велел Ленин. Еще карикатуру на империалистов наклеили из "Крокодила".

— О дружбе народов тоже можно написать, — сказал Миша.  
— Год — юбилейный, в декабре будут отмечать 50 лет добровольного союза народов СССР.

— Папа, ты знаешь, что такое дружба советских народов?

— Да. Это, когда у нас все народы — братья, никто никого не оскорбляет, все народы имеют свои газеты, школы и театры...

— Ой, отстань! Что ты меня агитируешь? Дружба советских народов — это анекдот такой. Один спрашивает: что такое великая дружба советских народов? Второй отвечает: это, когда грузины, азербайджанцы, русские и татары все дружно идут бить армян. Мне одна девочка рассказывала из Баку, у них очень армян не любят.

Тарелки она за собой не мыла. Хана не приучила ее к таким мелочам.

Миша разогрел воду в тазу, насыпал стирального порошка; тарелок было много, еще с вечера.

— Трудишься?

Гаврюха, в зеленой офицерской рубашке, при черном галстуке и синих брюках (все куплено в военторге по дешевке) куда-то собрался, так как был при всех своих четырех медалях.

Он прошлепал в ванную, открыл кран, намочил голову, долго причесывался перед зеркальцем на стене кухни.

— Куда это такой красивый?

— А надо. Может мне угля дадут. Вот взяли и запретили давать уголь в дома без разрешения домоуправа. А у меня печка, знаешь, на три комнаты, дровами не напасешься.

— А ты бы брикетом топил.

— Дорого. Тонна — 15 рублей, а еще привозка.

— А за уголь заплатишь 8,50, но будешь сутки таскать, как негр, в подвал. А тебе тяжести таскать запрещено.

— Ничего, молодые есть. Перетаскают.

— Твое дело. Только не понимаю я тебя, больной весь, битый, живешь в дыре, что ты себе кооперативную квартиру не купишь? У тебя деньги есть, не говори: на заводе зарплата шла и за контузию. Неужели не отложил ни копейки? Сам же мне рассказывал, что хочешь в Киеве домишко купить. Не даром же?

— То — передумали. Варвара тоди была малая, а теперь никак не выходит. Кооперативная — дорого.

— Гнить в государственной лучше?

— А почему я должен покупать, платить 50 000, а потом возьмут и объявят национализацию? Что у нас огороды не отнимали? Люди сеяли, сажали, клубнику развели, а пришли и сказали: "Отрезать до 600 квадратных метров", и отрезали. А мало домов построили на субсидию от государства же, а потом отобрали? Не-е, мы подождем. Пусть государство мне даст, бесплатно. Я в партии с 1945 года!

— Слушай, — сказал Миша, — как это ты в партии с 1945, если на фронте был с 1942? Что тебя не агитировали?

— Нельзя было. У меня дело получилось. Я в сорок втором офицером был, средний командир, два кубаря.

— Лейтенант?

— Не, интендант третьего ранга. Тогда была такая штука. Ну, послали меня в гидрометслужбу, к самолетам, погоду определять. А наступление было на Харьков. Немцы нам как дали, всю авиацию прифронтовую побили. Вышел приказ всех, кто здоровый, сформировать и — в распоряжение штаба дивизии. Меня там к лошади определили, связным с полком. Я говорю: "Не знаю лошадей! Начисто не знаю!" А у нас, знаешь же, как: "Родину любишь? Выполняй". Ну поскакал я ночью в полк с приказом. Темно, луны нет, дождь, дороги тоже нет: всю танками разворотило, все в поле съезжают, и я съехал. А там пшеница, а потом кукуруза, аж до плеч. Ничего не видно. Скакал по звукам, в ту сторону, где стреляли. А потом ничего не стало: ни людей, ни стрельбы. Слышу, кто-то разговаривает. Прислушался — немцы. Я с лошади соскочил, под узды ее и назад. А они — тррр — из автоматов и подбили лошадь. Упала она, бьется, мне ногу прижала. Еле выбрался. Хорошо, что темно. Ушел. Я ходом, ходом, в общем, утром на шоссе выбрался, сел в машину, еду в дивизию. А на мостике НКВД. Снимает всех, кто на восток — предатели! Одного капитана тут прямо и расстреляли, ни за что, ни про что. Я уже приказ выбросил, в грязь затоптал, еще скажут немцам вез! Ну меня спрашивают: кто такой? Говорю: связной, называю дивизию. Был, мол, в полку, сейчас в штаб возвращаюсь. А они мне: "Нет такого полка!" Я говорю: "При мне пропуск есть с номером полка!" А они свое: "Нет и нет!" Посадили в машину, отвезли в тыл, в тюрьму, потому судили — штрафной батальон. В сорок четвертом только вышел, когда блокаду с Ленинграда снимали.

— Может тебе еще повезло. Под Харьковом в 1942 году жутко людей погибло.

— Это точно. Целая армия полегла. Что ты, голыми руками против танков! У немцев танки, а наши с бутылками на танки! Кто русского солдата жалел?

— Да, было... Так надумал ты? Что ты меня не знаешь? Сколько лет вместе жили! Брат мой тут остается, Нухим. Это же выгодное дело, ты сообрази! Ты мою шубу видел? Что мне прислали? Шуба стоит по израильским деньгам не больше ста лир, а тут за нее дают 120 рублей! Ты представляешь, сколько вещей можно прислать за тысячу? Я же с тобой договариваюсь рубль — лира. Я не уплачу, Нухима разденешь.

— Лена не хочет. На что нам вещи? Старые мы.

— Ерунда! Твоя же Лена по всей Риге за парой сапожек бегала, а Варвара? Она же вся в импортном ходит, а все куплено по благу в тридорога!

— У молодых своя жизнь.

Миша махнул рукой. Не надо было говорить с Гаврюхой на эту тему. Он с самого начала знал, Матрена не допустит, чтобы деньги ушли из дому. Гаврюха может быть и одолжил бы; Матрене такая мысль должна была показаться дикой, как инквизиторам предположение, что земля вертится. Как? Дать кому-то рубль и не иметь все сто процентов уверенности, что в случае чего должнику можно выцарапать глаза? Подумать, что человек просто по-честному способен вернуть долг — это было выше Матрениных способностей.

— Твое дело! — сказал Миша. — А жаль. Меня бы выручил, себе бы хорошо сделал. Я знал одного журналиста, он уехал, а деньги ему одолжил русский, официант. Сейчас уже рассчитались. Мне один латыш 500 рублей дает, просто так, на честное слово.

— Лена сопротивляется.

— Сумасшедшая страна! — подумал Миша. — Чудовищная страна. Я, бывший комсомольский активист подполья, прошу займы у коммуниста с тридцатилетним стажем, чтобы уехать в Израиль. И никто не бежит к докторам проверить, кто из нас псих. Уезжают журналисты, писавшие фельетоны о капиталистах. Уезжают учителя, учившие детей, что СССР — самая прогрессивная страна. Уезжают люди, годами говорившие одно, но думавшие другое. Нищие просят займы тысячи, чтобы уехать, и им дают, а в Москве Брежнев произносит речи о

светлом будущем и благосостоянии, и они всерьез готовятся завоевать весь мир. Неужели приезжие с Запада не видят лозунгов, вывешенных над всеми улицами, неужели не читают "Правду" и "Известия"? "Коммунизм — светлое будущее всего человечества!" Это ведь тот же лозунг о мировой революции, только приспособленный к сегодняшнему дню. Или Запад смеется над ними и их бреднями, как смеялся над снамскими правителями, которые величали себя "Царь всех Царей, Властитель Мира, гор и прочее и прочее?!" Господи, во второй половине века ракет и ядерной энергии руководители огромнейшего государства со всеобщим средним образованием говорят с трибуны своего парламента слова, вроде "Дружба навеки!", "Будущее всего человечества"... "Несокрушимый блок социалистического содружества", как будто не было Гитлера, который строил тысячелетний Рейх, не было восточных деспотов, которые величали себя непобедимыми и бессмертными? Что у них совсем нет чувства юмора?

Он представил себе Брежнева, Косыгина, Суслова, Пельше, их старческие голоса, их лица, точно окаменевшие за чтением шпаргалок, их плохо пригнанные челюсти, тусклые глаза и не мог не содрогнуться. Это были ископаемые; люди, отштампованные в эпоху Сталина; они производили впечатление автоматов, настроенных на программу, которая не предусматривала изменений, и они, как паровоз, пущенный по рельсам, либо приедут к цели, сминая все на пути, либо свалятся под откос, увлекая миллионы жертв.

Но еще страшнее были те, помоложе, кого Миша знал лично. Старики верили, очевидно, в пролетарский интернационализм и в победу коммунизма, они были воспитаны Сталиным собственноручно. Но молодые знали, что почем, они одевались в японские кофточки и парижские шубы, сходу обзаводились автомобилями и квартирами с розовыми ваннами. Эти шли к власти ради денег и удовольствий, и эти будут убивать без колебания, не веря ни во что, кроме собственного я, требующего сладкой жизни. Всякое инакомыслие значило для них покушение на личную собственность, а человек, когда замахиваются на его добро, способен озвереть.

— Как же я пошел за ними, как очутился среди них в 1934? — спросил себя Миша. Он давно уходил от ответа, откладывал исповедь, увертывался, говоря: "То было по молодости, по неведению; потому был я с ними, что в Латвии Ульманиса евреев не любили, а коммунизм представлялся краем всеобщего равенства всех народов". Сегодня Миша не хотел увиливать от разговора со своей совестью.

Он лежал на диване, смотрел в окно: ветер раскачивал мокрую рябину, с которой не облетели еще все ягоды. Рябина росла под окном во дворе, возле дома, в котором жил карикатурист Кокарс.

— Что стоишь, качаясь, тонкая рябина? Головой склонилась до самого тына... У них во дворе в Якобштадте, который по-латышски называется Екабпилс, возле деревянного домика, который спалили немцы, тоже росла рябина. Тетя Бруха варила из рябины варенье от простуды, а простужались они часто. Домик был худой, угля не хватало, печка дымила. Нищета. А как не быть нищете, если отца убили белые, а мать бежала в Россию и там умерла тифом, а тетя Бруха была всего лишь вязальщицей на спицах, вязала для богатых дам кофты и покрывала. "Богатых"... По Якобштадским понятиям адвокат Иоселевич был "миллионер". В августе 1940 года Миша делал опись на квартире Иоселевича. Три комнаты, рояль, мебель средней руки, — "миллионер". В сравнении с рижскими Фищерами или Шлоссбергами — нищий. Но и те были, в сравнении с Ковенскими или Шауляйскими, богачами, так себе, бедненькие. А те были ничто в сравнении с Ротшильдами или Рокфеллерами. Вся беда в том, что люди видят только то, что перед глазами. И в этом отношении извозчик Перельман был богачом, а балагулле Ханкель — нищий. И Миша был уверен, что это так. А ведь в городишке знали: Перельман работал на износ, ездил по деревням, выбирал лучшую лошадь; его повозка была всегда чистой, ездоков он уважал, накрывал их колени пледом, возил быстро ночью и днем. Перельман ухватывал новое. Как только в Латвии появились такси, он продал лошадь, залез в долги, перебрался в Ригу, купил автомобиль,

работал у вокзала. Перельман не гулял, детей себе разрешил только двух. А Ханкель был хасид, любил поесть, выпить, детей у него было восемь, лени же — на десятерых. Так и перебивался с конягой — кожа да ребра. Кто же станет за такую езду платить больше 20 сантимов?

Сам Ханкель был доволен жизнью, не горевал; пил, трезвел, работал, делал очередного ребенка и считал себя счастливым. А детям его было голодно. В школу Янкеле приходил в опорках, подвязанных проволокой. На большой перемене глотал слюни. Потом госпожа адвокатша организовала бутерброды для неимущих, Янкеле не брал "подачку". Он чувствовал себя оскорбленным. В пятом классе Янкеле Ханкель начал слушать по ночам Москву на идиш. Там говорили об эксплуатации и великом братстве пролетариев, о царстве свободного труда.

Янкеле искал, кому поведать о сладостных известиях: самым нищим в классе он видел себя и Мишу. Так началось. Сперва рассказы о жизни в Стране Труда, потом мелом на дверях Иоселевича "Буржуй!", потом собрание на квартире учителя Нохемаиа.

Нохеман — высокий, сутулый, зеленый от туберкулеза, бегал по комнате, кутая шею в засаленный шарф, сиплым голосом будоражил:

— Иоселевичи кушают мед и пряники, Ханкель — одну картошку! Почему лавочник Мендельсон посылает своих дочерей учиться музыке и платит по три лата за урок, а ты, Комрат, ты учишься на деньги, которые для тебя собирает община, и ты не можешь и помыслить о музыке или французском языке? Богачи Перельман, Иоффе, Рабинович покупают хрусталь и каждое лето едут в Дзинтари, а вы покупаете сахар только на субботу, а зимой по вечерам не жгете лампу, потому что у вас нет денег для керосина? Разве керосин не из земли, которую бог дал всем нам? Почему керосин такой дорогой? Потому что лавочники и перекупщики наживаются на каждом стакане керосина! Они имеют все, мы — ничего!

— Господин Рабинович работает с 12 лет! — робко перебил Миша. — Моя тетя говорит, что он работал, как одержимый,

чтоб накопить на сверлильный станок, и что он по вечерам учился и учился, пока не стал уметь починять свет и утюги.

— Рабинович попросту был ловкач! — рассердился Нохеман. — Почему твой дядя не накопил на станок? Почему отец Янкеле не накопил на новую лошадь? Потому что мы, бедные, честные люди, а они, богачи, обманщики!

Это было дешево, неправдой, к тому же, но... ох, как кусало! Как просто и доступно объяснялось все. Богатые — воры и спекулянты, нищие — честные!

И охватывало чувство принадлежности к особой касте (слова он такого тогда не знал, но предчувствовал, что оно должно существовать), к братству избранных, которые имели свою страну обетованную — СССР, и час которых близился.

Учитель Нохеман кричал, закашливаясь до обмороков, отходил и снова кричал:

— Надо уничтожить деньги! Надо уничтожить эксплуатацию! Надо покончить со всем, что мешаает жить в равенстве, земля не может продаваться, но главное — это, чтобы не было магазинчиков, спекуляции; кто работает, тот сам и ест!

Муля Борухович, недоучившийся студент Сорбонны, вынужденный вернуться в провинциальную Латвию после банкротства отца, торговца мехом, Муля презрительно басил:

— Троцкизм! Товарищ Сталин разоблачил псевдореволюционные теории об отмирании товарного производства. В Советском Союзе существует рубль, и он служит мерилom контроля!

— Это временно! — захлебывался Нохеман. — Троцкий — ученый. Эмпиризм Сталина разобьется о факты революции!

— Резать буржуев! — требовала Фейгеле Перельман. — Все ваши слова — только слова, революция — это действие!

Спорщики умолкали, глаза их жадно оглядывали роскошный бюст Фейгеле.

Была она курчавой, рыжей, носила платья до колен и шелковые чулки в "сеточку", глаза же были чуждыми для этого тела: узкие, стальные, полные ненависти и холода. Фейгеле приехала в Якобштадт зимой 1935, в лютый мороз прошла с вокзала с двумя чемоданами в руках до окраины, где жила ее тетя — прачка. В городе говорили, что Фейгу

выгнали из университета за "политику" и что имела она "незаконного" ребенка от латыша. Мальчишки бегали смотреть на "политическую", она ударила одного, свалила с ног второго сильным, мужским ударом. Интерес к ней возрос, но дистанция тоже увеличилась, никто уже не пытался заглянуть в окна к старой Томер. Кумушкам, пославшим ей во след нечто липкое, Фейга издали тихо сказала:

— Придут красные — зарежу!

Вокруг нее образовалась пустота. Полиция следила за приезжей неусыпно, но почтительно. Она же обводила полицейских, на собрания ячейки приходила тайно, в чужой одежде, с лицом, измазанным сажей. — Резать! — говорила Фейге. — Мой идеал — Дзержинский!

— Блюмкин! — кричал учитель. — Твой идеал — левые эсеры! Революция требует законности!

— Жалко, что ты не доживешь до прихода Красной Армии! — хохотала Фейгеле. — Больных телом нельзя допускать к движению здоровых духом!

— Но я-то доживу! — обещал Муня. — Я погляжу на тебя, когда ты сама заболеешь!

— Товарищи! Товарищи! — просил сапожник Левенсон. — Мы же тут все коммунисты, мы должны быть едины! Проклятые буржуи, у них сговор, а мы все спорим. Мы должны объединяться!

— Ленин говорил: "Прежде, чем объединиться, надо размежеваться!" — отсекал Муня.

— Ленина не тронь! — вопил Нохеман. — Вы предаете Ленина на каждом денежном знаке!

Фейге ухмылялась. Ей виделось, как она отправляет всех их — левых и правых болтунов — в Сибирь, а может быть еще дальше. Ее душа требовала крови и безграничной власти.

Так было каждый раз: крики и перебранка, непонятные слова — ученые, непереведенные, мольбы о единстве и холодная ненасытность в глазах Фейги. И чем непонятнее были слова и неумнее предвкушение мести, тем больше тянуло Мишу к коммунистам, тем слаще было сознавать свою принадлежность к тем, кто готовит новую жизнь, к тем, кому она будет принадлежать после конца буржуев.

Бывало, ему становилось жалко мадам Иоселевич; старого, сварливого Рабиновича и очень было жалко сутулого Перельмана, он был в синагоге шамесом, а его жена умерла родами этой самой Фейги, дочь же свою единственную пришлось выгнать из дому после романа с гоем. Перельману была уготована смерть, об этом без слов говорили глаза Фейгеле.

Миша шел по улице, заглядывал в магазин Рабиновича и думал: вот придут красные, магазин отдадут детям, каждый получит полную охапку рубашек и штанов. Шел мимо магазина Мандельштама и думал: когда придут наши, все конфеты и весь шоколад раздадут бедным. И когда шел мимо домов, заглядывал в окна. Люди пили чай, читали книги, кто-то слушал радио (по тем временам то была большая редкость), танцевали под патефон, варили варенье, и Миша представлял себе, как в этих квартирах будут жить бедняки после буржуев, и как они, бедняки, танцуют и варят варенье и слушают Москву, и на душе становилось светло и в то же время остро, глубоко пронзала ненависть к буржуям: вышвырнуть их, отобрать добро, сломать все ихнее, и жить, жить на захваченном!

А потом был 1937 год, Испанская война. Муня уехал добровольцем и его убили через месяц в порту Малаги. Учитель Нохеман умер. Ячейкой завладела Фейга. Они тайно читали "Как закалялась сталь" и переправили в СССР приветственное письмо Ежову, истреблявшему контру. Сапожник Левенсон ушел от них: в Туапсе арестовали его дядю, обвинили в шпионаже в пользу Турции и расстреляли без суда и следствия. В Латвию пробирались коммунисты и некоммунисты, беглецы из Советского Союза, они рассказывали ужасы про ЧК и террор. Фейга дрожала от нетерпения разыграть то же в Латвии.

Теперь это казалось Мише невероятным, необъяснимым, чем-то, что приключилось не с ним: он знал, слышал, читал о массовых предательствах в СССР и о расправах с предателями. Сегодня чисткой руководил Ежов, завтра его самого "вычистили". Сегодня людей силком тащили в колхозы, с коровами и курами, завтра расстреливали тех, кто, выполняя указания вождей, "обидел" крестьян... а Миша только крепче и нетерпеливее ждал, когда придет Красная Армия.

Он видел и понимал, что те, кого ячейка объединяла именем "пролетарии", были разные, и нищета их была разной: от лени, от неудавшейся судьбы, так же, как и богатство богатых было разным — кто заработал капиталы каторжным трудом, а кто нечестивыми путями, но все равно: все пролетарии были для Миши своими, все буржуи подлежали разорению, выселению и уничтожению, потому что голод и вечная, непреходящая пустота кошелька кричали, заглушая разум, и потому, что посулы сытости и хорошей жизни ярко стояли перед глазами.

И вспомнилась Мише мадам Тевье. Вдова торговца, занимавшегося в Риге экспортом масла. Тевье умер, когда немцы вошли в Австрию. Дело умерло, когда в Европе началась война. Пушки сожрали масло. Мадам продала склад, пустые ящики, стала сдавать комнаты. У нее было пять комнат, в трех поселились молодые еврейские парни, которые питались "кошер" у мадам.

Двое учились в университете, деньги за них присылали родители из Даугавпилса. Миша работал на фабрике Флейшмана, штамповал пуговицы. И на квартиру, и на работу его приняли потому, что он был свой, земляк хозяев, потому что хозяйева знали его тетю — верующую, честную еврейку, а также потому, что за Мишу замолвила словечко госпожа Иоселевич. И тем не менее, Миша слушал Москву, таскал в дом Горького и Гладкова и не ходил в синагогу (религия — опиум для народа) ...

Мадам быстро распознала чтиво, поняла, кого он слушает по ночам и кого ждет, и укоризненно говорила:

— Мы, евреи, дураки, ой, какие дураки! Евреи делали в России революцию, а что теперь сделали с евреями?

Она плакала, утирала слезы: у нее было много, ой, много родичей и знакомых в России, многие были пламенные коммунисты, не хотели после революции переписываться с проклятыми буржуями, жившими в проклятой буржуазной Латвии, не понявшей прелестей Советской власти и посмеившей с оружием в руках гнать в шею красных.

А теперь мадам Тевье узнавала об арестах и исчезновении одного за другим ее родичей.

— Мойщеле! — говорила мадам Тевье. — Вос тут зех ойф дер

велт? Фарвос зайт ир азей мешуге? (Что происходит в мире, почему вы такие сумасшедшие?). Зависть, только зависть, больше ничего нет. Разве может быть страна, где все одинаково живут? Даже твой Ленин ездил в автомобиле, а мы ходили в Петербурге в 1919, когда не было трамваев и никакой еды, мы ходили пешком. Горький жил в шести комнатах, а нас уплотнили — нас было в одной комнате шесть человек, и все чужие. Наш главный начальник в доме кушал белый рис, а нам давали черную кашу, по ложечке. Мне тоже надо было пойти в коммунисты и кричать "Долой самодержавие!" Я тоже хотела кашу и комнату. А потом другие начали бы кричать "Долой!" и отобрали бы у меня паек и комнату...

Я уже много видела в жизни, Мойшеле. Всегда были и будут кто богаче, кто беднее, кто счастливее, кто несчастливее. Так самые несчастные — завистливые! И самые страшные! Человек от зависти делает ужасные подлости!

Теперь, спустя 35 лет, вспоминая мадам Тевье, погибшую в рижском гетто, Миша видел, что она была права. Страшно было ему и больно признаваться; долго уходил он от своей совести, откладывая исповедь, но теперь, перед дорогой в Израиль, чувствуя все нарастающую боль в сердце и боясь, как бы она не оказалась роковой, он не хотел откладывать миг правды. Мадам Тевье была права, тысячу раз права: зависть гнала Мишу в ячейку, и все, кто были вокруг него тогда, кого он знал как коммунистов до прихода Советской власти, все были красными от зависти: зависти к чужим деньгам, чужой обеспеченности, к чужой власти. И эта зависть была самой худшей, потому что начинала с крови.

— Слава богу, я был слишком мал, чтобы меня приняли в партию в 1935! — думал Миша. — Слава богу, в 1940 я был слишком ненадежен, как еврей и бывший певчий еврейского хора, чтобы меня допустили к НКВД. На моих руках нет крови, но кровоточит душа моя, потому что многих я оскорбил и многих не утешил, когда у них отбирали квартиры, мебель, когда ссылали в Сибирь. И слава тебе, Господи, бог Израиля, что так скоро показал ты мне истинное лицо коммунизма и что столько выпало на мою долю оскорблений, антисемитизма, нищеты при Советской власти, что вернулась душа моя к народу моему, и я еду в Израиль.

Но он еще никуда не ехал, а лежал на диване в своей комнате и оглядывал стены: синюю, красную и две желтых; диван, на котором лежал, кресло-кровать Тамары, пианино, книжную полку, сделанную им самим из ворованных досок, потому что купить их было просто негде. Посреди комнаты стоял стол, четыре стула, и Миша подумал, что если он вот так сейчас возьмет и умрет, и позовут санитаров, то придется раньше выносить мебель, а потом уж покойника.

— Миша, не спишь?

— Кто там? Ты, дядя Вася?

Дядя Вася не стал дожидаться, что его попросят войти, деликатность дяди Васи так далеко не простиралась. Он открыл дверь, вошел и сел у стола. Круглое, плоское лицо в красных морщинах, больная нога в валенке, здоровая — в ботинке.

— Ну, подлецы! Ну есть же люди! — сказал Вася. — Отказался. Вчера, так просто кипел: "Ты скажи, я возьму! Чтобы никому не отдавал!" А сегодня ему, вишь, дорого. У нас есть одна падла, бухгалтерша, вся в прыщах, наверно начала шептать: "Зачем тебе подержанная, зачем у кого-то, купи в комиссионке, там с гарантией". Я говорю: "Иван Алексеевич! У людей берешь, я знаю у кого, машина новая, только что куплена пять лет, а не работали. У нас в доме горячей воды нет, им невыгодно на газе ведрами кипятить. Стояла машина. Эмаль нигде не побита". А он говорит: "Василий Михайлович! Я в комиссионке смотрел — совсем новая, прошлого года с паспортом, за 68 рублей". Я тогда говорю: "Ну и что? Семь рублей сэкономишь? Так они в магазин на комиссию, небось, такую выставили, чтобы избавиться. Бракованная, наверно, с завода. Чинили чинили, надоело, вот торг ее и сбавил в комиссионку. У меня знакомые купили в комиссионке, на Мельничной телевизор за 215, так потом год плакали, пока продали за сто. Телевизор прямо с завода пришел в комиссионку с паспортом и гарантией, а не годился". А он мне говорит: "Василий Михайлович! Что вы так за евреев беспокоитесь? Они в Израиль едут, пусть горят". Вот сволочь!

— Не расстраивайся. Кто-нибудь уж купит.

— Нет, какая сволочь! Совсем новая стиральная машина с цитрифугой? Не знаю, не выговорить, а он нос воротит. Зачем он ко мне приставал с ней, зачем упрашивал? Вот люди есть!..

— Ты смотри, чтоб тебе не было неприятностей из-за нас.

— А ну их к бесу. Что я такого делаю? Соседи ведь, двадцать лет с Аней в одной квартире живем. Что я помочь не могу?

— Ты же знаешь, как на это смотрят.

— Где сказано, что нельзя помогать? Государство разрешает выезжать в Израиль, что я — умнее государства?

— Ты партийный.

— Ну и что? Разве я уезжаю? Если вы так решили, ваше дело. Я бы ни за что не поехал к капиталистам. Ну его, боюсь, кругом хозяева, эксплуатация. Но раз правительство разрешает вам... Что я с вами в политику впускаюсь?

Миша мог бы припомнить дяде Васе, как он не раз и не десять раз пускался в эту самую политику. Как кричал: "У капиталистов рабочему человеку конец!", а Стасик, ухмыляясь, спрашивал: "Ладно. Капиталисты — волки. Но Сашка Гальперин, мой корыш, работал на "ВЕФе" электриком, получал 140, еле тянул, а в Израиле у частного имеет 1500 и купил автомобиль за год и мебель!

Дядя Вася плевался на заграничные изделия: "У них только снаружи красиво, а походи в дождь, и все разлезется!" Варвара отбила: "Так почему вы сами в магазине ищете венгерские ботинки? Нате, у нас внизу сколько угодно зонтиков из Одессы, но вы себе купили японский!" "Он складной!" — бурчал дядя Вася. — А почему у нас не делают складных?"

Особую ярость Васи вызывали итальянские фильмы. Само собою, в СССР показывали только те, что критикуют буржуазный строй: "Итальянец в Америке", "Развод по-итальянски", "Господа и дамы". Вася кричал: "Разврат у них! Никакой морали!" Стасик подмигивал: "Ирена с нашего подвала живет, конечно, в Риме? У нас разврата нет, только у нее каждую ночь морячки пьют и спят, один насмерть упился в прошлом году, мертвого увезли в морг. На Бродвее, около Академии Художеств, иностранные бляди гуляют? Вы поезжайте на вокзал, там все окно увешано фотографиями проституток, попавшихся на вокзале!"

— Агрессоры! — проклинал дядя Вася. — Вьетнам жгут, арабов захватили! Негры у них умирают без суда по тюрьмам!

— Если бы я был израильским министром иностранных дел, — говорил Миша, — я бы сказал в ООН: "Мы уйдем с завоеванных территорий, как только Советский Союз уйдет из Выборга, с Курильских островов, из Калининградской области и Львовщины, захваченных в войну."

— Негры! — побледнел Стасик. — А сколько у нас народу упекли без суда и следствия в 1940?! Увезли в Сибирь, в Красноярск и уморили по дороге... Немцев Поволжья так и не вернули домой, держат в Казахстане, а им по конституции 1936 года была дарована автономная область!

Часто, очень часто дядя Вася лез в политику, но жизнь разбивала наголову Васиные доводы. Миша и Стасик каждый вечер слушали Би-би-си или "Голос Америки", они знали такое, что дядя Вася не узнавал ни из "Правды", ни из "Коммуниста Советской Латвии". И опять-таки жизнь оказывалась не в пользу коммунистической прессы. Запад предупреждал: В СССР плохо с урожаем! Вася ругался: "Ложь! Клевета", а потом оказывалось, что Васиные же товарищи с элеватора в порту рассказывали, что прибывают пароходы с канадской пшеницей. Запад извещал о пожарах на торфяных болотах вокруг Москвы. Вася утверждал, что это слухи, чтобы подорвать "мораль советских людей". Через две недели Москва призналась в радиопередаче, что пожары застилают небосклон столицы, приходится ездить по шоссе с включенными фарами.

Но вконец Васю потрясло известие о налоге на образование. Сперва он не поверил: "Разговоры это. Образование у нас для всех бесплатное". Миша пришел с ОБИРа, принес расценки.

Вася растерялся:

— Я бы всех, кто хочет, выпускал. Зачем держать? Если человек не хочет жить у нас, как он будет работать? Ему же верить нельзя... Это ошибка! Откуда у вас деньги? Оба работаете, не пьете, не курите, а еле-еле... Восемь тысяч!

Расстроился он в самом деле, от души, потому что по душе своей был истинный русский человек: упрямый, но чуткий к чужой беде. Миша мог бы сказать себе, что дядя Вася старается продать стиральную машину или холодильник из корысти:

уезжая, само собою, Комраты не возьмут с собой ни старые шубы, ни диван, ни уйму тряпок и железок, которыми обрастает каждая семья, долго живущая на одном месте, и это все достанется Васе, не Грижаням же. А у Васи была родня по всей Мордовии, и все — голытьба с деньгами, то есть все работали, все копили, а купить было нечего. Они присылали Васе переводы, а он сколачивал им посылки по 10 килограмм: кальсоны, рубашки, рижские трико, не бескорыстно, скажем правду. Долгов у Васи было еще больше, чем родни. Получал он 90 рублей в месяц, а долгов, которые поведал Мише, насчитывал 400 рублей, так что с переводов от сестер и племянников он и себе откладывал, посылал им купленное, ношеное, писал, что за 25, а покупал за 20, а сколько Тамариных блузок и свитерков отправилось в Саратов к Юлечке, и сколько Ханиных платьев к разным Таням и Дусям?.. Но Миша все-таки знал, что в данном случае Вася старается из моральных причин. Ему было стыдно за свою партию, за Россию, и он пытался сгладить их вину.

В конце концов это была его страна, его тюрьма, в которой ему жить до смерти. У Миши не шло из головы, как они — все мужчины дома — Гаврюха, Стасик, Миша и дядя Вася, ходили смотреть "Итальянца в Америке". Фильм для советских был менее интересен, чем фон, на котором снимался. Камера заглядывала в магазины, там с пола и до потолка лежало мясо: свежее, мороженное, тушами, ломтями. Перед зрителем проходили улицы, где на одном километре стояло больше машин, чем ездило по всей миллионной Риге. Там девушка примеряла платье, три продавщицы развертывали перед нею километры тканей, а на улице дети ели мороженное ста двадцати сортов.

Домой пришли молча, пили на кухне чай. Стасик с глухой ненавистью сказал:

— Живут!

— Слава богу, и мы не голодные! — вставил Вася.

— В войну ели крапивный суп, сейчас в столовке подают борщ с позавчерашней картошкой?

— Избаловались мы! — долбил Вася. Вхожу в магазин, одна стоит, копает хлеб: тот черствый, у того корка подгорела...

— А почему на двадцать шестом году после победы мы

должны есть подгорелую корку и говорить спасибо?! В Германии от целых городов камня на камне не осталось, а у них не едят ни подгорелое, ни черствое!

Вася взвился, бурые пятна пошли по лицу:

— Что ты мне суешь в нос Америку? Что мне Германию? Я здесь живу, зачем меня расстраивать? Мне отсюда не уехать, я не хочу все время думать, как где-то хорошо, а у меня плохо!

И ушел к себе в каморку, заперся на ключ, наверно, лег на кровать и плакал, дядя Вася был слезлив, как женщина.

— Спасибо тебе! — сказал Миша. — Ты мне сильно помогаешь, я даже не знаю, кто бы еще мог мне помочь уложить вещи, если мы получим визы.

— Не может быть, чтобы не получили! Столько ждали, без работы сидели...

— Ладно, — сказал Миша. — Твоими устами мед пить. Обещаю, что как приеду, так напишу Стефаниде письмецо: "Здравствуйте дорогая Стефагнида Израилевна!" — и добавляю в скобках "Александровна".

Дядя Вася аж зажмурился от удовольствия.

— Ты ей на пивзавод напиши! На работу! У них там такие есть антисемиты, утопят Стефу в бочке с пивом!

— Зачем ты ее взял к себе? — спросил Миша. — Теперь-то хоть скажи. Что ты ей должен был? Не такая уж она тебе родня. С чужого киселя пятая вода. Ты-то хоть знаешь, кем она тебе?

— Почему? Знаю. Сестры моей Дуси внучатая племянница.

— Сколько ты ей хоть должен?

— 90. Это что. Это я отдал бы. Просили очень. Она в Алое жила, считай, на деревне. А как-никак девке уже под сорок. Где в Алое женихи? Да и дурная она, сам же знаешь. Переругалась со всеми в городе. Ну, попросила перевод в Ригу. Жить пошла к тетке по отцу, пока, значит, ей комнату завод освободит. Пивной дом строил, на Юле. А дом затянулся. А Стефа с теткой из-за Райкина не сошлась. Тетка Райкина не терпит, а Стефа ей перечила. Дядьку обругала. Дядька и сказал: "Пошла вон! Храпишь, а еще воображаешь". А ей только скажи, что храпит. Смертельный враг!

— Ты взял и скис.

— Скис. Что уж там.

— Поблагодарила она тебя.

— Не говори. Как пришла сюда, сразу с бабкой "Бабусечка! Бабусечка!" — и все из-за вас. Бабка ей про вас всякое, а она евреев ненавидит. Ну и склеились с Грижаниями.

— Они ее супом кормят, она им из Милгрависа кофточки везет или бананы.

— Не-е, коммерция тут хлипкая. Тут вы — евреи.

— А что у нее против евреев? Имела она с евреями дела?

— Не знаю. Просто так. Разве против евреев те, кто что-нибудь имел? Это от природы так. Или от зависти. У нас вот на днях один кричал: "Евреи — спекулянты! У каждого пианино, дети в университетах!" Я ему говорю: "А тебе кто мешал? Сам имеешь 170; жена на "Автоприборе" работает, тоже 120 получает, а сын с восьмого класса на учете в милиции. Что ты ему не купил пианино или аккордеон? Водку меньше лакать надо!" Но разве убедишь. Все одно орет: "Евреи — спекулянты!"...

— Ты-то видишь, какие мы спекулянты!

Дядя Вася махнул рукой, схватился:

— Ай! Мне же в четыре в поликлинику, но в дверях встал, спросил:

— С Гаврюхой говорил?

— Подразнил быка красной тряпкой! Он, видимо, не прочь рискнуть, Матрена не позволила.

— Э-э... Вася покачал головой. — Не надо бы! Гаврюха уже бегал в домоуправление, стучал на тебя, что ты уезжаешь, а мне комнату передать хочешь за деньги.

...Немец вскинул автомат и выстрелил Мише в сердце. Миша во сне покачал головой: было не так. Он уже несколько раз видел, будто немец убивает его, а немец не стрелял тогда под Разуваевкой.

Когда товарищ Озолинь ударил Мишу ногой под колено, и он вывалился из ряда и очутился на колене, один на лугу, открытый со всех сторон, ефрейтор не поднял автомат и не

стрелял. Он только подошел поближе, постоял, переводя взгляд с Миши на Озолиня, спросил:

— Зольдат? Пиф-паф?

— Нейн! — сказал Миша. — Нейн! Их арбейтер, фабрик ин Рига.

— Die Hand? — спросил немец. — Зольдат? Бум-бум фронт?

— Нихт! Плескау! Бомбен!

— Ах зо! Плескау! — ефрейтор закивал. — Ich war in Pleskau, wir waren in Angriff auf die Eisenbahnstation. Geh dort!

Он толкнул Мишу стволом автомата, показал, иди, мол, туда — к старику и старухе и к тому красноармейцу, который вышел из шеренги. Все они относились к "юден и комисаре". Когда Миша встал в ряд с ними, немец поманил пальцем товарища Озолиня, поманил, точно собачку:

— Komm! Komm auch du! Du bist ein Arler? Ein Russki?

— Хейль Гитлер! — завопил товарищ Озолинь и даже вскинул руку со всем тяжким своим портфелем. Портфель раскрылся, море бумажек рассыпалось и пало на траву. На бланках были изображены в уголке рабочий, разбивающий цепи, опоясывающие Земной шар и серп и молот.

И тогда немец на самом деле поднял автомат и небрежно, на ходу, прислонив приклад к животу, нажал на спуск. Товарищ Озолинь закричал звериным голосом и, содрогаясь, упал. Красная, пенистая кровь забила из него, точно из лейки.

— Ein Schwein. — сказал немец. — Wie alle Roten, ein Verrae-ter! (Свинья: как все красные — предатель).

К четверым арестованным подошел конвоир, пристроился сбоку, и они, как гуси, двинулись по тропе, поднимая пыль.

Дорога шла в гору, минут через десять уже хорошо были видны липы в деревне, белая церквушка с православным крестом, сверкающим на макушке. приземистые, рубленые хаты, и площадь перед церковью, а на площади немецкие грузовики и черная легковая машина.

Старик тяжело тащил свой деревянный чемодан, красноармеец глупо улыбался: вот как влип, ведут, что малое дитя... а Миша все видел перед собой: в траве товарища Озолиня и

кровь, бьющую из него, и не мог понять, почему они четверо покорно идут в немецкий штаб, чтобы позволить уложить себя, как Озолия? И чем больше он размышлял над своей покорностью, тем больше тяготился ею, тем больше зрела в нем решимость восстать и либо умереть, либо уйти от немца.

А немец шел сбоку, потя и насвистывая что-то из "Сильвы", маленький, плюгавый немец, уверенный в своей безопасности. Карабин висел у него за спиной.

Между тем, дорога привела их на взгорок. Она проходила по самому краю оврага, а слева от основной дороги отпочковывалась другая, песчаная, рыхлая, и уходила в кусты, за которыми виднелась высокая красная труба.

Возможно, решимость Миши так и осталась бы намерением, но на взгорке немец остановился, повернулся к оврагу и спокойно расстегнул штаны. Он делал свое дело, как пастух посреди стада, и Миша взорвался. Он подошел к немцу и ударил его ногой под колено, в то же время сильно двинув рукой в спину. Немец вскрикнул, покачнулся и полетел вниз, по камням и колючкам, а Миша помчался прочь по тропе, ведущей к трубе среди кустов.

Он бежал, прижимая пылающую свою руку, просил ее и умолял не болеть, глотал слюну и слезы, но уходил все дальше в кусты. За кустами он увидел решетчатые сараи, вагонетки с засохшим кирпичом и понял, что труба принадлежит кирпичному заводу, а значит тут должны быть обжиговые печи, в которых можно спрятаться, лишь бы у немцев не было собак. Миша забрался в печь, задвинул за собой заслонку, лег на холодный песок. Кругом стояла тишина и легкий скрип деревьев. Он пролежал в печи до ночи, а ночью к заводу вышла группа пограничников, пробивавшихся на Восток, к своим, от самой Таураге в Литве.

— Ты кто? — спросил лейтенант. — Еврей? Документы есть? — и когда убедился, что перед ним действительно еврей, сказал:

— Порядок. Бери винтовку, будем воевать.

Для лейтенанта не было сомнений, что еврей не может быть плохим солдатом против немцев.

Миша проснулся от того, что скрипнула дверь, подумал, что пришла Тамара, но, открыв глаза, увидел гостью.

— Эсинька?

В сильном волнении сел он на диване, протянул руку, обнял Эсю:

— Где вы были? Мы искали вас в Москве и в Риге, всюду нам говорили, что не знают.

— А нас в Сидельниково отвезли. Это такой маленький, замухрышный городишко под Москвой, но тюрьма там большая, еще царская. Говорят, в этой тюрьме сидел когда-то Порхов, изобретатель пенициллина, если вообще пенициллин изобрели в СССР. Впрочем, это неважно, бог с ним, с Порховым. Вы очень волновались, дядя Миша?

— Эсинька! Ну какое это имеет значение, волновались, не волновались? Ты о себе расскажи. Ведь ты была в тюрьме!

— Тюрьма, как тюрьма. Камера с решетками на окне, нары двухэтажные, в углу параша, в дверях глазок. За глазком ходит по коридору надзиратель с красными погонами, курит "Приму"...

— Разве вас не поместили в женское отделение?

— В мужское. Они в этом Сидельниково не ожидали, что привезут женщин. Я представляю так: когда мы явились в приемную Верховного Совета и сели на скамейки с голодовкой, в Кремле начали спешно совещаться, они еще не привыкли к голодовкам в Верховном Совете, а тут уже кто-то устроил, что туда примчались иностранные корреспонденты. Вот там наверху у кого-то явилась идея отвести нас в Сидельниково. Городишко сам по себе закрыт для иностранцев, там около него аэродром, мы когда ехали обратно, видели самолеты на бетонке. Ну, дали команду; нас вежливо под ручки и в машины, и в Сидельниково, а там полный расплох: свободных камер нет, начали сгружать в одну по восемь и по десять человек, а камеры маленькие... Яшу Бройхмана и Абрашу Голда уже некуда было совать, они, бедные, попали к уголовникам. Мы, как увидели, что их уводят наверх, на второй этаж,

сразу начали барабанить в двери, кричать, грозили, что устроим голодовку. Пришел капитан, его фамилия Нежников, представляете? Начальник тюрьмы, Нежников, пришел и говорит:

— Что вы шумите? Может, вашим товарищам в общей камере лучше будет?

Начал объяснять, что уголовники имеют с воли передачи; табак, сахар, а нам ничего не дадут — строгий режим. Но потом все-таки перевели ребят к своим. Представляете, дядя Миша, уголовники в самом деле угощали Яшу конфетами, а если бы он курил, так и табаком. Там у них был интересный разговор. Один уголовник, сидит за ограбление сберкассы, спрашивает Абрашу:

— Вы за что?

— Евреи.

— А! В Израиль едете? Сто пятая, параграф шесть; может, я спутал, неважно.

Абраша говорит: "Что это за сто пятая?" (Или какая там).

Ну его просветили: хулиганские действия с нанесением ущерба общественному порядку. Год тюрьги.

Абраша говорит: "Не будут они нас держать год".

Уголовник, который ограбил кассу, начал спорить, но другие ему быстро доказали, что евреи не просидят даже 15 суток: за границей у них такой интернационал есть, шуму на всю ООН наделают! Вышлют в Израиль, вот и все.

Но тот и говорит:

— На тебе Великий русский народ! Великий, великий, а хоть воду вози, никому никакого дела, хлеб приходится у капиталистов покупать — золотом расплачиваемся, а евреям сразу бы навезли вагон и малую тележку.

Ну, тот другой, он кажется бухгалтер, его ОБХС посадило, тот и сказал:

— Большую силу взяли! Такая гнида на Востоке, а пойдя ты, весь мир мутит. Сто миллионов арабов ничего не могут сделать!

— И вы ничего не сделаете! — врезал ему Яша. — И не гнида, а еж! Слезьте, ж... колоть перестанет, может тогда голова работать начнет! Вы на арабов семь миллиардов долларов убухали и еще столько же угробите, а ничего не выйдет! Ваши

арабы коммунистов резали и резать будут, советников советских выгнали!

— О боже мой! Он же мог убить Яшу!

— Не убил. Даже руку не поднял. Вся камера молчала, потому что Яша прав. Только надзиратель начал орать в глазок: "Прекратить политические разговоры!"

— Сколько вы просидели, Эсинька!

— Девять дней.

— У тебя разбита губа?

— Ничего, до свадьбы заживет. То есть до развода.

— Вас били?

— Нет, это я с лейтенантом поговорила в повышенных тонах. Паршивенький такой лейтенантишко, молоко на губах, ногти женские, лакированные, курит "БТ", духи на нем из ГДР. Я ему сказала: "Посмотрите на себя! Вы нам обещаете расстрелять нас без суда и следствия, а за что? За то, что мы хотим уехать из СССР? А сами курите иностранные сигареты, жене, наверно, покупаете импортное белье, а по ночам слушаете Би-би-си? Посмотришь на вас, молодых, с образованием, вы же понимаете, что проиграли игру, никогда коммунизм не превзойдет Запад, вот и свирепеете от того, что нам есть куда ехать, а вам некуда... Ну, он меня и съездил по губам. Аргументов-то других нет!

— Он угрожал вас расстрелять?

— Было такое дело. Мы все-таки устроили там голодовку. Понимаете, дядя Миша, в камере только четыре спальных места, а нас шесть, а там одна женщина беременная, выносила с фабрики мотки с шелком, а вторая — больная, старая, та за попытку к убийству сидела, мужа пьяного хотела топором убить. Куда же мы их положим? А потом, они же старожилы, сидят под следствием уже сколько? Нам на полу спать пришлось, а что дали? Брезентовую подстилку? Мы с Мирой день поголодали, мальчики тоже с нами заодно, лейтенантишко этот прибежал, белый весь, трясется от злобы: "Вы мне тут голодать?! Показатели портить?! Да я вас, гадов, к стенке бы поставил всех, если бы суда не боялся!"

А я спросила его:

— А совести не боитесь?! Вот тогда у нас и вышел душещипательный разговор на политические темы.

— Ты сказала "развод"?

— 19-го...

— Эся, это окончательно?

— Лучше я сейчас разведусь, чем позже. Все равно жизни не будет, если уж так получается. Ведь это он начал, он первый нас начал настраивать: "Нечего тут делать, надо ехать". Папа ведь не думал об Израиле, ты же знаешь. А когда мы заняли денег, когда продали обстановку, вылетели с работы, тогда он вдруг начал ныть, откладывая: "Давай еще подождем, давай еще язык подучим"... Папа прав: если он не едет, зачем мы взяли 14 000 в долг? Теперь Алик говорит, чтобы папа с мамой ехали, а мы потом, когда Алика отец выйдет на пенсию; а что же получается? Они уедут и будут там наши долги выплачивать, а мы тут будем язык учить, английский штудировать? Не-ет, я не хочу тут до самой смерти жить замурованная!

— Ты хоть представляешь себе, почему он вдруг передумал?

— По характеру. Что он видел за свои 28 лет? Папин сын, всю жизнь все шло, как по маслу: родился в тылу, вырос в тепле, в школу его возили на директорской машине, потом учился в институте, никакого конкурса не проходил, папа устроил. Потом — на работу. Захотел в радиоинженеры — пожалуйста, и это устроили. А тут люди едут, переживания, как-никак, щекотка нервов... А может быть он сперва на бизнес в Израиле рассчитывал, а потом испугался: тут у него все привычное, а там еще погоришь. Он же никогда в жизни никаких решений сам не принимал.

— Ты не допускаешь, что ему жалко отца? Если Алик подаст бумаги на отъезд, старика выкинут с работы. Ты же подумай: старый большевик, подпольщик!.. и вдруг сын уезжает?

— Надо было раньше думать. Я ему говорила про его отца. Он уверял, что пойдет в суд, будет отрекаться от родителей.

— Тяжело это, Эсинька! Разорвать семью?..

— А Мане Горович не тяжело? А Люде Мультнер? Это, как топором по дереву, когда ударили и не перерубили до конца:

уже отрубленное не приклеишь, уже расти не будет, а еще тянется, цепляется за кору. Всех нас ударило, дядя Миша. Нет такой еврейской семьи, где бы не разорвало. Ни в одной стране мира нет такого страшного положения. Даже Румыния — социалистическая страна, а, пожалуйста, хочешь в Израиль — поезжай, хочешь вернуться — возвращайся, во всяком случае можно приехать в гости, звонить, писать. В Советском Союзе, если ты уехал, то как умер. Они сами создали трагедию, сами гонят людей навсегда на другую сторону... Уверяю вас, если бы отсюда можно было уехать и приехать, если бы люди могли съездить в Израиль и вернуться, когда захотят, половина бы не уезжала: пенсионеры, интеллигенция, которым надо учиться заново. Но они сумасшедшие — коммунисты. У них нет середины; заперли целую страну и удивляются, почему у них бегут то рыбаки, то артисты. Где, в какой стране мира слышали слово "невозвращенцы"? В Америке есть невозвращенцы? Да их там быть не может. Хочет американец, живет в Израиле, хочет — в Англии, хоть всю жизнь. И никто не кричит, что он предал.

— Они не могут открыть ворота. Не могут, Эся. Если они разрешат свободный выезд, люди узнают слишком многое, что сейчас знают только понаслышке. Увидят демократическую жизнь, увидят, что капиталисты своим рабочим платят больше, чем советское государство. Люди могут потребовать, чтобы партия подала в отставку или чтобы переменились лица наверху, а у нас в СССР власть — это деньги, это — вечное положение над законом, это — профессия. Что представляет собою Пельше или Сулов без власти? Какая у них специальность? Никакой. Никсона не изберут, он вернется к адвокатской практике. Не изберут Помпиду — не беда: он банкир. А что такое наши боссы, если их лишить власти?

Эся рассмеялась невеселым, старческим смехом:

— Несчастливая страна! Сидят два еврея, у одного есть разрешение уехать, денег нет, у другого есть деньги, разрешения не дают, и о чем они говорят? О болячках государства, для которого они оба контры, вши на здоровом теле коллектива...

Миша с любовью и сочувствием смотрел на Эсю. У нее был удивительно еврейский, восточный профиль, с прямым носом и

бровями над переносицей, черные, вьющиеся и длинные волосы, тонкие пальцы, нервные, музыкальные.

— Господи, — думал Миша, — как мало мы в обычных условиях знаем людей, как трудно раскрываем людей в сутолоке буден! Что я знал о ней? Дочь моего двоюродного брата Нухима, родилась в Новосибирске, училась на музыковедческом, а я, грешным делом, не люблю кляксографию и пятноведение, все эти мудрствования над сине-розовым периодом Пикассо. Я — человек хлеба и воды, а искусство — это вино и пряники, не для голодных. Что я знал о ней, об Эсе? Так встречались иногда. Как все советские интеллигенты, бурчали об очередях, смеялись над Никитой, презирали Брежнева за его шпаргалки и "блахосостояние", которое он и выговорить не мог со своим украинским "х" вместо "г"... Я был у нее на свадьбе, тоже без охоты, потому что я знаю ее тестя, этого идиота, который отличался идиотизмом еще в тюрьме в 1937 при Ульманисе. Как говорится, если еврей коммунист и к тому же верующий коммунист, так это надолго. Он верил каждому слову Сталина и теперь верит каждому слову "Правды"... а она шла за сынка такого деятеля. А, поди ж ты, девчонка отказалась от карьеры, вылетела из театра, разбивает личную жизнь, с дочкой трех лет на руках, и уедет в Израиль, если ее выпустят. Как она сказала на собрании в Управлении культуры? "Если желание жить среди своего народа, чтобы никто тебя не спрашивал "национальность?", есть сионизм, то я — сионистка. Но я себя не считаю сионисткой потому, что не видела живого сиониста; знаю только, что сионистов расстреливали в 1924, в 1937 и 1949 гг. и готовы расстреливать сейчас. Кто же мог мне рассказать о сионизме? Я хочу жить в Израиле потому, что у меня дочь, и я не хочу, чтобы всю жизнь ее сопровождала анкета с пунктом номер 5 и глухой шепот за спиной: "Они все спекулянты"...

— Я тебе желаю самого хорошего в жизни! — сказал Миша. — Я удивляюсь твоей стойкости! Ты достойна самого лучшего в жизни!

— Не надо, дядя Миша, а то я начну себя любить! Да! Я же вам деньги принесла! Тысячу рублей. Мы с папой все обдумали, мы можем вам дать тысячу. Хорошо, хорошо, без отводов! Мы

еще не едем и бог знает, когда поедем, а вам надо сейчас. Берите, хоть один выберется из семьи.

23.

Она ушла, а Миша взял карандаш и, подойдя к дверям, проставил в списке против слова "Нух" цифру 1000. Список висел на двери с того дня, как стало ясно, что они могут ехать и должны собрать 12 000. Миша помнил список наизусть:

Вас. Ив. — 500.

Нух — 1000.

Марик — ? (1000)

Грижань — ? (500)

Синагога — ? (1000)

Пианино, холодильник, стиральная, диван, кресло и проч. — 800?

Фриц. Франц — ?

Блюма?

Миша вычеркнул "Марика" и Грижаня, подумал и вычеркнул "Фриц. Франца". Он знал, что его бывший директор не пойдет на сомнительную сделку. Если бы речь шла о ста, о двухстах рублях, пошел бы. Фриц Францевич был человек мягкий, добрый, он дал бы просящему, но дать много не мог: Фриц строил дачу на Гауе, у него теперь были долги больше двух тысяч... Но все же Миша отправился к бывшему директору, рассказал, что может из Израиля посылать вещи, а у директора были три дочери, все хотели хорошо одеваться; Фриц обещал подумать, он сам не мог получать посылки "оттуда": из партии выбросят, но у него была тетка на деревне, та могла бы получать. На другой день Фриц прислал записку: "Извините, ничего не получается"... Посыльный — средняя дочь директора — сказала, что "папа вентилирует насчет займа для вас", но Миша уже не верил в заем. Блюму тоже надо было вычеркнуть. Блюма жила на первом этаже их "гасиенды" в трех комнатах с расписными стенами. На одной был нарисован сад с деревьями и речка, на второй — Домский собор. Жили еще при Блюме ее муж, зубной техник и собачка "Пушок".

Сперва Блюма задумалась, слушала Мишу и кивала, потом сказала, что сейчас это трудно, ой, как трудно собрать деньги, но она постарается, она поговорит с людьми, но не больше, чем на 500. Конечно, Мишу она знает и будет говорить о нем только хорошее, но трудно, ой, как трудно:

— Я получаю сто пять рублей оклада, а у меня два магазина на плечах! И поработать приходится немало! Сам ящики таскаю, сам бидоны с молоком грузу, а где еще беготня по базам, по торгам? Я вот уехала в отпуск, так они план на 98% выполнили. Всем только зарплата. Все плачут. Я приехала, пошел в торг, выколотила водки "Особой", выправила план. А с водкой сколько горя? С девяти утра только можно продавать до восьми вечера, такое постановление принимали. Я обязан водку в запретные часы прятать, а мне выгодно ее продавать. Самые пьяницы только и идут с утра или после смены — ночью! А я сама против себя воюю...

Она говорила мужским басом, повелительно, непререкаемо, путая женские и мужские формы глаголов, потому что, видимо, считала себя больше мужчиной, чем бабкой, и Миша подумал, что вот она уж никогда не поедет в Израиль, где нет баз, торгов, выколачивания водки, грузчиков, которым надо "дать", и клиентов, которым продают спиртное из-за закрытой двери, как во времена "Сухого закона" в США. Просить у нее на отъезд было стыдно, как будто он сам не работал за свои 135, как лошадь. Уроки давал, парты красил, переносил шкафы из кабинета в кабинет, делал все, что делают советские учителя... и не набрал ни полгроша, чтобы уехать. А Блюма, как-никак, каждое лето снимала дачу в Пумпури, была у нее "Юбилейная" мебель, полный гарнитур для трех комнат, носила она шубу из настоящего каракуля. Говорили, что деньги делает ее муж, но не все ли равно? Так или иначе, деньги у Блюмы были, она не хотела их давать. Да и зачем? Что ей в посылках из Израиля? Она могла на месте купить любую вещь за свои деньги, не рискуя дать и не получить ничего взамен. Все ее слова о том, что она знает Мишу и верит ему, были словами для кого-то. Для себя самой Блюма знала: что при мне — то мое, что отдала — пропало. Но и отказать Мише она не могла. Блюма ходила в синагогу на Йом-Кипур и Рош-ашана, по

субботам пекла халу и готовила фаршированного карпа. Помогать уезжать было "мицве", — разумеется, если это не стоило ни гроша.

— Ты иди в синагогу! В синагогу! — учила она Мишу. — Там дадут. Ты им скажи: "Я честный человек! Разве я похож на разбойника?"

— Я вам это говорю, — сказал Миша.

Блюма развела руками:

— Разве я тебе не верю?

Миша поднес карандаш к слову "Блюма" и передумал. Кто ее знает, может быть она и даст в конце концов рублей триста? Пока что дела шли отчаянно. Комраты должны были пересечь советскую границу не позже 12 часов ночи с 18 на 19 ноября, а он еще не собрал и трети нужных денег.

Еще и еще раз перебирал он в памяти лица и адреса, думал и гадал, кто бы помог? Все были люди честные: положишь рубль, не возьмут, но чтобы дать, не зная, вернутся ли деньги, нужны были люди особые, а таких Миша не припоминал. Ему рассказали, что одна отчаявшаяся женщина с пятилетним сыном пришла к известному в Риге адвокату и попросила 500 рублей на отъезд. Миша знал и эту женщину (она была подругой Ханы), и того адвоката (он был другом семьи Нухима), и оба они знали через Мишу друг друга, но адвокат сказал:

— Я дал бы вам 500, но вы, на всякий случай, напишите мне расписку, будто купили у меня пианино. И если вы мне не вернете деньги до 31-го, я заберу ваше пианино.

— Но как же я найду вам до 31-го?!

— Я дам вам 500. Еще кто-нибудь даст, вы купите свою визу в Риге, с визой вас пропустят в Москве в Голландское посольство, там вы попросите заем за счет Израиля. Так делают.

И ей еще было сравнительно легко! Она еще попала в список лиц, которым разрешили выезд без уплаты за высшее образование. С второго августа 1972 года все евреи, получившие в СССР высшее образование, должны были уплатить за свои дипломы не меньше 3000 рублей...

Тамара кричала еще из коридора:

— Маа, звонила к Оле, чтоб мы пришли сами к семи часам, она уже будет там! Она купила Марику диапроектор с вентилятором!

— Понятно. А в чем она пойдет? В сарафане?

— Ну ты и бестолковый! Маа же приходила домой, погляди в шкаф — ее розового костюма нет.

— Что я по шкафам лазю? Что еще приказано?

— Чтоб мы покушали легко, чтобы перетерпеть, пока все соберутся, и чтобы ты почистил мне туфли и заплел косы с белыми бантами.

— Других приказов нет?

— Нет. Паа, можно я тебя спрошу, но дай слово, что ты не будешь шипеть.

— Валяй.

— Можно, я не поеду к Марику?

— Ты что? Хочешь, чтоб мать с меня живого голову сняла?

Он покривил душой, самую малость. Он мог бы появиться без Тамары; на людях Хана не устраивала сцен, а людям можно было сказать, что девочка заболела: погода стояла мокрая, холодная... Но Миша не хотел входить в дом, в котором жил шурин, и оказаться на лестнице один на один с теми знакомыми, кто тоже жили в этом кооперативном доме и могли очутиться перед Мишей, пока он поднимается на третий этаж. Судьба зло распорядилась этими людьми: оба они получили квартиры на втором этаже, дверь против двери.

Одним из этих людей была Фаина Макарова, в девичестве Фейге Перельман. Она дождалась своего: В 1938 году ее арестовала латышская полиция, был суд и приговор: 10 лет каторги. В тюрьме она сидела в одном флигеле с другими 150 коммунистами Латвии, познакомилась с подпольным (и арестованным) ЦК и вместе с ним участвовала в голодовке, взволновавшей всю демократическую публику. Для голодающих собирали лекарства, президенту Ульманису угрожали бойкотом. А летом 1940 пришла Красная Армия, политзаключенных выпустили из тюрьмы (это получило позднее наиме-

нование "народной революции"). Фейгу несли на плечах молодые рабочие, встречавшие Рассвет Новой Эры во всем простодушии молодости, ждавшей от СССР того, что обещало им Московское радио. Через неделю Фейга сидела в кабинете первого секретаря комсомола уезда и составляла списки "контры". Теперь ее ненависть к буржуям обрела конкретность; прежняя, так сказать, идейная кровожадность, сменилась жаждой личной мести. Теперь она хранила много "синяков" в памяти: скудные обеды в жестяной посуде, грубости следователей, тюремные запахи, долгие ночи в одиночной камере, когда перед мысленным взором вставали картины, как буржуи в это время пиршествуют и развратничают, и теперь Фейга отливала буржуям сторицей. Она сослала своего отца, Иоселевичей, Горфинкеля, Матиаса — всех, кого только можно было запихнуть в вагоны в тот первый, еще примерочный период советской оккупации. В 1941, за месяц до войны, когда началась массовая депортация неблагонадежных из Латвии в Сибирь и Туркестан, Фейга уже была официально чиновником НКВД в Риге. Летом 1941 года она отправляла в ссылку рижских евреев — сионистов-социалистов, трумпельдоровцев, мизрахистов и идишистов; всех, какого цвета ни были бы их убеждения, потому что все, что было по мнению НКВД "сионистским", отвлекало трудящихся от основной задачи — быть могильщиками капитализма. Пролетариату, особенно советскому, надлежало строить светлое здание социализма, а не размышлять о судьбе еврейского народа.

Что делала Макарова в войну, Миша не знал. Она вернулась в Ригу после падения Хрущева. Говорили, будто с Дальнего Востока, вышла на пенсию, само собою, персональную, союзного значения, то есть на 120 рублей, купила (или ей купили?) две комнаты с кухней и ванной, и теперь, толстая, огромная, как еврейское горе, на хилых, ревматических ногах, она ходила по школам и комсомольским собраниям, рассказывая, как плохо жилось в буржуазной Латвии, где правила "клика", и как дьявольски безжалостно подавлялось справедливое дело рабочего класса и его родной коммунистической партии. Говорила Фаина Макарова горячо, великолепными словами. Миша однажды слушал ее в Тамариной школе, если бы не знать

на личном опыте, как было на самом деле, буржуазная Латвия должна была показаться тюрьмой.

Вторым человеком, которого Миша совсем не хотел видеть сейчас, был Шломо Либерман.

Шломо держал мельницу в Речице, при мельнице был паровой тартак, то есть лесопильня. Одно лето Миша работал возчиком бревен у Либермана. Шломо в те времена был франт, прижимистый хозяин, даже скряга. Потом оказалось, что он копил для сына, копил и отправил Изю в Палестину и купил ему пять дунамов на реке Кишон. В 1940 году Либерман жил в Риге, за Двиной, сдавал внаем склады приезжим мужикам: хранить товары для базара. В 1941 Миша встречал его несколько раз на улице, не здоровался. Миша был начальником цеха, работал для народа, для Новой родины — Советской Латвии; в воздухе пахло войной; над Либавой уже появлялись немецкие самолеты, а Либерман был буржуем, к тому же национализированным, а значит, врагом вдвойне.

15 мая, как раз в канун строжайше теперь запрещенного юбилея ульмановского переворота, когда НКВД и милиция и все партийцы получили приказ быть начеку, чтобы не допустить антисоветских манифестаций, Мишу позвали к телефону.

— Товарищ Комрат? Это Циммерман из райкома. Я тебя тут порекомендовал, ты сегодня вечером приходи в райком.

- Порекомендовал? Куда?

- Узнаешь. В двадцать ноль-ноль.

— А что мне взять с собой?

— Пальто. Ночью холодно.

Миша не был коммунистом. В первые дни, когда пришла Красная Армия, он думал, что его участие в ячейке, листовки, которые он писал и расклеивал по городку рискуя свободой, его денежные взносы в кассу партии — все это сделало его партийным. Потом выяснилось, что надо, прежде всего, засвидетельствовать безупречное пролетарское происхождение и три рекомендации от членов партии, которые сами должны иметь партийные карточки с трехлетним стажем. Миша мог предъявить документы о расстрелянном белыми отце и мог собрать рекомендации, но канцелярская процедура оскорбила и отпугнула. И уже раз, воздержавшись от официального вступления в

партию, он не смог преодолеть своего внутреннего смущения тем, что видел в партии и вокруг нее. Партийный билет с постыдной быстротой превращался в хлебную карточку, в пропуск в "закрытые" магазины и конфискованные буржуйские квартиры.

Вызов в райком испугал Мишу: уж не хотят ли его обвинить в чем-либо, что могло быть связанным с его учебой в ивритской гимназии? Но такими делами вряд ли занимался райком, к тому же Циммерман был земляком, из честных латышей, пострадавших при Ульманисе за убеждения.

Циммерман знал Мишу по ячейке, а в ячейке молодой Комрат служил верой и правдой.

— Зачем они меня вызывают? — все спрашивал себя Миша. — Может быть, опять выступать?

Но в тот раз надо было явиться в райком днем, и его повезли в Усть-Двинск, где в скалах были устроены склады снарядов, а сверху стояли пушки береговой обороны. В Красном уголке собрали новобранцев-матросов, и Миша рассказывал им, как жили и боролись трудящиеся в буржуазной Латвии, что Ульманис разогнал профсоюзы и парламент, нельзя было бастовать, а хозяева все норовили, чтоб рабочий работал много, а получал мало.

Краснофлотцы слушали внимательно, потом один из них спросил:

— Парламент — это что?

А после ответа Миши, его засыпали вопросами:

— Сколько давали по карточкам хлеба? Когда вы голодали, то ели лебеду?

Миша растерялся, он никогда не видел карточек на продовольствие...

Комиссар матросов, похожий на Свердлова, еврей в пенсне, провожал Комрата к машине, спросил по-еврейски:

— Вы не знаете хороших девочек?

Сейчас приглашали на ночь, с пальто... Миша не знал за собой никакого явного греха, но противное чувство неизвестности, глухой угрозы, нависшей над ним по воле кого-то, невидимого и недосягаемого, давило, не отпуская. Циммерман сказал: "Я тебя рекомендовал", но Миша уже знал, как пропадают люди.

Их вежливо приглашают на беседу, а потом никто не знает, куда они подевались. Он уже знал, что не важно, грешен ты или безгрешен перед собой, важно числят ли за тобою грехи "ТАМ", в "ДРУГОМ МЕСТЕ" и этим местом может быть ЧК, райком, профсоюз... Все равно тебя не позовут для объяснений. Приговор выносится заочно и не подлежит обжалованию.

Потом он рассердился. Разве я не комсомолец по совести? Не работал в ячейке, как коммунист по призванию? Моя совесть чиста! Даже если произошла ошибка, кто-то наговорил на меня, надо встречать решения партии, как учит товарищ Сталин! Меня рекомендовали на какое-то важное задание, а я трушу. Да, арестовывают. Высылают. Судят. Но мы в капиталистическом окружении, внутри страны полно врагов, надо принципиально смотреть на вещи: конечно, в партии есть плохие люди, но разве есть лучшая партия для рабочего человека? Разве есть идеи лучше коммунистических?!

Домой он все-таки не пошел; пойти домой значило встретиться с мадам Тевье, с ее всевидящими глазами. Эти глаза переворачивали в душе Миши все его философские построения о том, что партия хороша, отдельные люди в партии плохи. Мадам Тевье грустно качала головой:

— Я говорила, Мейшеле, ой, говорила, какие мы евреи дураки... Вот твои русские пришли, одно горе заменилось другим — куда большим. Разве это власть, если человек может пропасть, как иголка?!

Так и пошел в райком без пальто. Он проходил по Бривибас аллее — главной улице большого города Риги. Улица была почти безлюдна. Люди боялись заходить в кафе, чтобы не обвинили в буржуазности, не заподозрили в сокрытии денег, чтобы не было у НКВД повода думать, что там, за столиками зреет заговор контры. Магазины были пустыми: национализированные фабрики гнали одежду и еду в СССР.

Уже потом, после войны, прочитал Миша Комрат афоризм польского сатирика Эжи Леца: "Вначале было слово, затем наступила тишина". Это было именно то чувство, которое он в 1941 не умел выразить. При проклятой "клике" жизнь вечерней Риги не отличалась от вечерней жизни больших городов в других нормальных странах: фланировали пары, играли ор-

кестры, из ресторанов доносились гомон и запахи; публика покупала, в газетных киосках пестрели десятки обложек, над улицами порхал свет реклам. В Риге большевиков было безмолвно, голо, пусто.

В райкоме сидели уже человек десять, подходили новые, никто не знал, зачем их вызвали. Циммерман только пожимал руки, хлопал по плечам:

— Важное задание, товарищи! Очень важное!

Они сидели, курили, разговор шел о бомбардировках Лондона.

— Ничего, англичане скоро расплатятся за все! — предвещал Циммерман. — Восстанет Индия, восстанет Египет! Проклятые колониалисты! Гитлер конечно же переплывет Ламанш.

— Лондонское радио сообщает, что немцы собирают войска возле наших границ, в Польше, в Румынии.

— Провокация! Черчиллю надо, чтобы мы поссорились с немцами!

— Все-таки это странно, что мы заключили договор с фашистами! Они судили Димитрова, они расстреливают польских офицеров.

— Очень правильно, что мы заключили договор! — сказал Циммерман. — Это империалистическая война, пускай они воюют, ослабляя друг друга. Потом трудящиеся массы восстанут и поднимут над всей Европой Красное знамя революции!

Миша сидел и думал, что, конечно, товарищ Сталин — мудрый вождь, и мы непобедимы: разве может какая-нибудь армия сравниться с Красной? Там солдаты не знают, за что воюют, офицеры — буржуи, а солдаты пролетариат, но все-таки ужасно, что Советский Союз продает Германии хлеб и нефть. потому что немцы убивают евреев, как бешеных собак. Политика — трудное, страшное дело...

В десятом часу приехала машина с командирами НКВД, они заперлись в кабинете первого секретаря райкома, долго там совещались. Один командир вышел в приемную, сказал, чтобы товарищ Янсон ушел домой: произошла ошибка, Янсон не нужен. В двенадцатом часу приехала Фейга — в кожаной куртке, парабеллум в деревянной кобуре на боку. С нею прибыл еще один чекист, в такой же кожаной куртке, без

петлиц и без оружия, громким голосом обратился к собравшимся:

— Товарищи! Вы приглашены сюда, чтобы помочь нам в проведении важного задания. Мы будем обезвреживать врагов народа, вы приглашены в качестве понятых. Никакой жалости к контре! Смотрите, чтобы они ничего не прятали, никуда не передавали записок, чтобы никто не выходил из их логовищ.

Понятых разделили по группам. Разъехались по городу.

Миша попал в машину с молодым лейтенантом и двумя монголами, молчаливыми, как статуи. Они приехали в Задвинье, лейтенант посмотрел в список, вышел из машины, посветил фонариком по стене: сверял номер дома.

— Здесь! Здесь! — сказали из темноты, и показался человек в плохом пальто с повязкой на рукаве — дворник.

— Вы тоже пойдете с нами!

Дворник поспешно закивал:

— Все в доме! Никуда не ходили. Уже три дня, как чемоданы сложили!

— Почему сложили? Кто приказал?

— А боятся они! Соседей уже забрали, они вот чемоданы и сложили. И спать не ложатся. Ждут. Только детей положили.

— Гады! Стучите!

Но дворник не стал стучать, а позвонил. Двери сразу открыли, в коридоре горел свет, и Миша увидел Шломо Либермана. Лицо его было серым, вокруг глаз пролегли черные борозды. Либерман был в хорошем костюме и зимних ботинках.

Когда они вошли, Шломо стал с лица почти белым, спросил без голоса:

— Вещи брать?

— Ишь ты, торопится! — сказал лейтенант. — Никуда не двигаться! Всем сидеть тихо! Будет обыск.

Миша не понимал, зачем тут обыск, что можно искать у людей, занесенных в списки высылаемых, но обыск загружал присутствующих, не позволял оставаться глазами против глаз, а ведь Шломо, наверно, до сего дня думал, что это Миша отомстил ему, что это Миша повинен в его высылке.

Лейтенант сел за стол, разложил бумаги, начал допрашивать

Либермана: Имя, фамилия, отчество, год рождения? Чем занимался? Бывал ли за границей и с какой целью? Либерман ездил в Литву и Эстонию, до 1940 года это была заграница; лейтенант не знал, полагается ли отмечать эти поездки после присоединения и Литвы, и Эстонии к СССР, и долго размышлял, а монголы тем временем тщательно и молча перекопали книжный шкаф, отложив кучкой все книги на латышском и еврейском, потом перевернули матрацы, перелопатили шкафы. От света и голосов проснулись внуки Либермана и заплакали. Их, видимо, учили, готовили к аресту, и дети теперь мужественно глотали крик.

Мишу тошнило. От вида комнат, постепенно заполнявшихся вывернутыми вещами, от издевательских вопросов лейтенанта, и уж совсем его добили эти неплачущие дети — маленькие дети десяти и восьми лет, бессловесно воспринимающие обыск и арест...

Между тем, закон запрещал понятым прикасаться к вещам обыскиваемых. Понятые должны были олицетворять народ в его пролетарской, революционной бдительности, чтобы никто не мог сказать, что чекисты украли что-нибудь при обыске, и чтобы враги народа не могли подкупить чекистов.

И Миша с дворником стояли в коридоре, смотрели, слушали, как Либерман отвечал на вопросы и как лейтенант осторожно химическим карандашом писал и писал и давал Либерману подписывать каждый лист, как жена Либермана сидела на диване и плакала, а дети сидели в кроватях и сдерживали слезы. Потом мальчик попросил пить, бабушка поднялась, чтобы выйти на кухню, набрать воды, а лейтенант вскочил, будто при взрыве и, выхватив пистолет, заорал:

— Стой! Шаг и застрелю!

Старуха повалилась в ужасе на диван, дети разревелись.

— Молчать! — орал лейтенант. — Молчать! Я покажу вам тайные движения!

И то, что лейтенант на самом деле полагал, будто имеет дело с матерыми врагами народа, было еще ужаснее и противнее, чем обыск и вид развороченного имущества.

Наконец, в третьем часу ночи, лейтенант разрешил старикам одеть детей, взять чемоданы и повел их к машине. Мишу

посадили рядом с шофером, чекисты и арестованные сели в кузов. Дворнику было приказано запечатать квартиру, после чего он мог отправиться в кровать (если только сон шел к нему).

Миша Комрат после той ночи не спал долго, а спал, так видел станцию Чиекуркалнс, блестящие под дождем рельсы, длинные ряды товарных вагонов, и на самом конце станции, в тупике шесть вагонов для скота, с решетками на окнах и вышками над крышами. Вдоль рельс, на которых стояли эти вагоны, были расположены солдаты с винтовками по обе стороны вагонов. Внутрь оцепления уже не пропускали никого, даже чекистов, производивших обыски и аресты. Туда проходили только самые высылаемые и там их принимали уже другие — еще более свирепые — энкаведисты.

— Молчать! Не двигаться! Проходи, проходи! — носилось над вагонами...

В последний раз Шломо Либерман поднял глаза на Мишу, ничего не сказал и ушел в вагон, откуда слышался детский плач и женские успокаивающие голоса.

## 25.

Миша нагрел чайник воды, вручил Тамаре, отправил ее в ванную. Слава богу, дома никого из соседей не было, никто не стоял над душой, девочка могла помыться не спеша.

Пока она мылась, Миша включил утюг, принялся за свои парадные брюки, прослужившие ему безотказно восемь лет. Гладильная доска не помещалась в комнате, пришлось поставить ее в проходной, под окном, выходившим во двор магазина. И теперь, стоя перед этим трехстворчатым, двухрамным окном, немытым с майских праздников, Миша думал о вещах далеких и небудничных.

— Кто знает, где найдешь, где потеряешь? Вот Фейга сослала в Сибирь отца и Шломо Либермана, думала — они погибнут, а на деле спасла их от немцев. Старый Перельман в Красноярске попал на автобазу, показал себя хорошим механиком, его уважали, приглашали на халтуры. Он там нашел вдову с сыном,

женился, потом у них родился еще сын. После смерти Сталина Перельман с семьей приезжал в Крустпилс побродить по родным местам. И Шломо Либерман уцелел в Казахстане. Его увезли на Алтай, там он работал в МТС бухгалтером, вырастил внуков, после Сталина его реабилитировали, разрешили вернуться в Ригу. Теперь внук Либермана врач, внучка кончает консерваторию. А Изька погиб в плену у иорданцев в 1948... Я был воспитанником ребе Нахмана, в день моей бар-мицвы читал в синагоге Обращение Иеремии к народу, а потом пошел в комсомольцы, думал, что это и есть моя правда.

И когда правду вынули из меня, когда большевики сделали меня неверующим в Маркса—Ленина, что оставалось бы мне, если б не мое еврейство? Я отрекался от него, я уходил в мировые проблемы пролетариата, намеревался бороться с Девятиглавой гидрой империализма, за счастье всех трудящихся, а оказалось, что нет строя более враждебного для трудящегося человека, чем строй в СССР, потому что он отрицает главные права, действительно завоеванные в кровавой борьбе — право забастовок и свободы слова. И был бы я опустошенный и подавленный и спрашивал бы я себя: "На что уйдут теперь мои прозревшие годы?", как спрашивают себя тысячи старых большевиков, стоящих над пропастью истины, открывшейся им после долгих десятилетий сталинизма, хрущевщины и сусловщины. Ради чего я принес горе себе и другим, отказывался от личной жизни, отказывал в ней другим, копался в чужой любви, судил друзей, молился на портреты Маркса—Ленина? Ради того, чтобы в конце концов узреть, что 200 миллионов советских граждан живут впроголодь, за каменной стеной лжи и насилия, чтобы какая-то тысяча высших чиновников Кремля, секретари обкомов и их чада жили, как не жил Николай Второй, обедаясь и опиваясь буквально и в переносном смысле?"

Слава богу, я родился евреем и в том оказалось мое спасение, потому что мы действительно избранный народ: после двух с половиной тысяч лет возродить государство, сумев не растерять за эти тысячелетия ни язык, ни предания?! И то, что казалось мне узким, слишком кастовым — мое еврейство — это на деле обернулось великим и широким, на

всю жизнь делом, потому что возрожденное государство еще должно доказать силой свое право на существование, потому что против него ополчилась вторая в мире держава — СССР и сто миллионов арабов и потому что в самом этом государстве еще много надо пахать и строить и переустроить...

И все-таки трудно и больно уезжать из страны, ведь я родился в Латвии, рос тут, учился, дочь моя родилась здесь. Для меня не было разницы между культурой еврейской и латышской или русской, я говорю на всех трех языках и думаю на них... И если бы не большевизм, может быть, я послал бы дочь в Израиль, а сам остался бы доживать век у янтарного моря. Но они сделали так, что выезд в Израиль — это, как ножом отрезать: навечно, навсегда, и раз так, надо уезжать, потому что при всем моем уважении к латышам и русским, а я знаю много очень достойных латышей и русских, при всем том, каждый народ должен жить на своей земле, иначе он не народ, а секта, которая сама себе строит духовное гетто.

— Ну, как моя шея?

— Ммм... он оглядел дочь. Хваткая девица. В свои 13 лет она знала в три раза больше, чем ее отец в 20. Он бы не мог держать в себе столько противоречий, не выплеснув наружу.

— Шея была отмыта чисто, уши тоже.

— Маникюр?

Она показала ногти.

— Одеваться!

— Слушаюсь!

(Господи, тон у меня с нею! Разве я так мог разговаривать с моей тетей?)

Тамара прочертила пальцем на пыльном стекле какую-то загогулину:

— Ну и грязища!

— Да ужросло.

— Не вздумай только мыть! Их очередь.

— Знаю.

— Ну свиньи! Как наша очередь, так мы вкалываем по-честному, а эти только и думают, как бы кого обжудить.

— А кто у них может мыть окно? Бабка? Пошли ее на

стремянку, свалится и убьется. Или Гаврюха с его оперированным животом?

— А нам какое дело? У них есть молодые.

— Молодые каждую неделю за всю семью моют полы.

— Пускай Стефу наймут, так итак она у них объедки доедает. Вчера опять звали: "Стефанидочка, миленькая, вот тут супчик остался с морковочкой, хотите?"

— Не становись наушницей! — сказал Миша. — Какое тебе дело, кто у кого ест? Мы родились в Европе, мы интеллигенты, в этом разница. Мы уезжаем, в частности, и потому, чтобы не жить мещанской жизнью. Когда человека надолго запирают в одиночку, он теряет рассудок. В Баварии были деревни, по девять месяцев отрезанные от мира снегом в горах, там население болело кретинизмом. А здесь целый народ уже 50 лет держат в тесноте коммунальной кухни. Не становись по собственному почину кумушкой из-под замочной скважины.

— Стой! — сказала Тамара. — Кто-то звонит.

Он прислушался, звонили к Голову, в соседнюю квартиру.

— Их никого дома нет, это к нам! — сказала Тамара и побежала отпирать.

## · · 26

Она была права, звонил, ошибаясь дверью, Георгий Константинович.

— Георгий Константинович! Вам же тяжело подниматься по нашей лестнице!

— Э, полноте, в мои лета все тяжело. Если с этим считаться, надо лечь на диван и принять большую дозу веронала. А я хочу еще пожить.

— Мне надо очень долго жить, чтоб видеть их в гробу, и я приду, паршивый жид, хоть гвоздь в тот гроб вобью!

— Тамара!!!

— А что? — сказала Тамара. — Хорошие стихи. Мне Альберт рассказал. С нашего класса.

— Она меня изведет! Ей-богу, я ее когда-нибудь выпорю!

Георгий Константинович улыбнулся:

— Будем надеяться, что уже не здесь. Я тоже знаю стихи:

Мы улета́ли из тюрмы,  
стояли стражники у трапа  
и рылись в наших жалких тряпках,  
чтоб тайн не увозили мы.

Ах, эти тайны блудной девы,  
секрет мордовских лагерей...

Любой уехавший еврей —  
строка презрения и гнева.

Майор дрожал, как пьяный вор,  
искал записки, списки, ленты.

А мы — живые документы,  
скрепленный Богом приговор.

Тамара забила в ладоши.

— Спасибо! — сказал гость. — Я еще нравлюсь публике. Но может ли публика на минутку оставить нас наедине с папой?

Подумать только, Тамара с охотой даже закивала. Никаких обид, пошла и тихонько закрыла за собою двери.

— Если бы я имел много денег и много детей, я бы просил вас заняться их воспитанием! У меня к ней педагогики не хватает, — признался Миша.

— Это придет с внуками. С моими сыновьями я тоже был никудышный ментор. После дневных забот о хлебе и масле не остается сил на педагогику.

— Она растет в одной комнате с родителями! — сказал Миша.  
— Она слышит чересчур многое.

— Все устроится. Приедете в Израиль, будут у вас две или три комнаты. Девочка пойдет в школу в спокойной обстановке, ее характер смягчится.

— Поеду... Мне еще до отъезда — 10 000!

Георгий Константинович порылся в боковом кармане, положил на стол пачку рублей.

— Мы тут с Руфочкой продали немного книг, конечно, это — не 10 000, но с мира по нитке... Здесь 450.

— 450?!

Миша закрылся ладонями:

— Вы будете продавать свои книги, чтобы я уехал? Дорогие книги: Скира, "Маэстри дель колоре?"

— Ну и что? Книги покупают, чтобы они скращивали жизнь, а когда надо — продают.

— Не могу. У меня нет никаких гарантий, что я вам смогу вернуть долг.

— Тоже ничего. Мне уже 65, я пенсионер. Руфочка получает свою пенсию. Костя работает.

— Мне стыдно! — сказал Миша. — Когда я подавал документы, должен был думать о том, что с меня могут запросить выкуп за дипломы. Это висело в воздухе. Они должны как-то остановить отъезд, хотя бы интеллигенции. А я начал войну против Кремля с пустым карманом.

— Выкуп не имеет ничего общего с желанием остановить отъезд. Наша интеллигентская беда, что мы считаем их более дураками, чем они есть. О нет, они умны, очень умны, умны настолько, что водят за нос целый свет. Я не верю в их чувствительность к общественному мнению Запада. Я знаю, говорят, будто они выпускают евреев потому, что хотят выглядеть получше в глазах Запада. Но вот вам Солженицын. Писатель с мировым именем. С 1968 года мир требует, чтобы его перестали травить в СССР. Сейчас 1972, а Солженицын так и не смог поехать в Швецию за Нобелевской премией. Возьмите Синявского или генерала Григоренко. Общественность Запада давно и упорно требует их освобождения. А они, как были, так и остались узниками концлагерей. Или Сильва Залмансон. Уже несколько международных организаций просят, чтобы ее выпустили. А Ленка слушает, да ест... Коммунисты склоняются только перед силой, только перед материальной силой. Пока они не нуждались в трубах из ФРГ, ни один немец не получил разрешения вернуться в Германию. Пока им не нужен был канадский хлеб, ни один канадский журналист не мог выехать за пределы Москвы. И пока евреи Америки и Англии не наложили руку на торговлю с СССР, Москва и не думала выпускать евреев. То, что еще при Хрущеве выпустили пару сот стариков или больных, это точно была подачка общественному мнению Запада после Венгрии. Теперь они норовят заполучить золото в обмен на евреев. В России голод, за все лето не было дождей. Горели торфяные болота вокруг Москвы

и Рязани, потом во Владимирской области. Украина высохла. Алтай. Нужен хлеб. Нужно золото.

— Они выпускают уже с 1970 года.

— А почему? Опять-таки из-за материальных причин. Из-за грубой прозы. Вы же знаете, как беспокойно у нас на национальном фронте. Мы были с Руфочкой в прошлом году в Мордовии. Кто когда слышал о мордовском национализме? Теперь наши знакомые — интеллигентные люди — говорили нам: "Мы оккупированы! Боже мой, мы погибаем от руссификации!" Я спрашивал узбеков и туркмен: "Почему вы не довольны русскими? До революции у вас ведь не было ни собственных врачей, ни артистов, ни заводов, ни Академии наук". И знаете, что они мне ответили: "Если бы наша республика была самостоятельной, мы бы за свой хлопок и свое золото получили от Америки в сто раз больше помощи, чем от Москвы, и никто не запрещал бы нашу веру, нашу культуру, наши обычаи!" А в Литве? Это же было только нынешним летом. Мой коллега как раз был в Каунасе, видел, как студенты Политехнического института разнесли магазин политической литературы, как били милиционеров и кричали: "Свободу Литве!" А ведь и в Литве до русских не было таких заводов, Академии наук, столько врачей и артистов. Не-ет, не хлебом единым сыт человек. Ему нужна свобода, в том числе национальная. И тут мы, евреи, — дрожжи, поднимающие тесто всеобщего недовольства. У нас у всех родня за рубежом, мы читаем письма, рассказы о жизни по ту сторону расходятся кругами по воде... Мы, самые угнетенные из угнетенных наций в этой тюрьме народов, больше других ощущаем руссификацию, ассимиляцию и т. д. У всех национальностей Союза хоть видимость имеется развития: у латышей, литовцев, эстонцев, туркмен есть газеты, есть театры, есть песни. У нас нет ничего. Мы видим так называемую ленинскую национальную политику во всем ее истинном, обнаженном виде. В ее абсолюте, отрицающем национальное вообще. И мы заставили другие национальности СССР взглянуть пристально на то, что выдается за культуру, национальную по форме, социалистическую по содержанию.

И что же? Оказывается, все латышские песни прославляют

мудрую партию, все танцы рассказывают о прелестях колхозной жизни, книги превозносят присоединение к СССР... Наши правители при всей их невежественности помнят историю. Рим развалили иностранные рабы, Австро-Венгрия распалась из-за восстаний словаков, чехов, венгров и т. д. И СССР развалится. Так что высылка евреев, называйте это эмиграцией, если хотите, — один из путей сбросить лишнее давление. Меньше евреев, уже легче. Притом еще и капитал можно нажать — золото, и капитал политический: вот де, как Москва слушается общественного мнения Запада! Значит, не совсем пропащая страна. С ней еще и торговать можно, и мирный договор заключать.

— Не знаю, — сказал Миша, — очевидно, вы правы. Я тоже говорю себе, что если бы они были глупы, все давно развалилось бы. Но если это так, то становится страшно. Они могут дожить до момента, когда нажмут на красную кнопку ядерной войны.

— Не будем пессимистами! — Георгий Константинович поднялся. — Будем надеяться на зрелость Запада. И на Китай.

. 27.

— Что он хотел?

— Он принес деньги.

— Так мы уедем?

— У тебя совесть есть? Человек продал свои книги по искусству, он копил их годами, может быть недоедал, отрывал от себя, он стоял не меньше трех часов, чтобы сдать книги в антиквариат, ты же видела, какие там бывают очереди, и принес деньги нам, а ты спрашиваешь только одно: что он сделал для нас.

— Откуда я знаю? Может быть, он нам должен?

— Ничего не должен. Мы ему должны. Неизмеримо много.

— А кто они нам?

— В том-то и дело, что никто. Тетя Руфа, жена Георгия Константиновича, была подругой моей покойной сестры.

— Почему мы к ним не ходим?

— А как мы можем ходить к людям, если мы не можем привести людей к себе?

Они вышли из дому, под снег с дождем, пошли до станции Ошкарны, но электричка опаздывала, и они спрятались внутри, в зале для пассажиров, пропахшем табаком и пылью.

Там было людно, вносили и выносили чемоданы, узлы, кричали дети на руках у матерей, пьяные отцы прилипали к скамьям, и в который раз Миша с тревогой и сожалением подумал, что в Советском Союзе, сколько ему приходилось видеть все больше и больше пьют, очевидно, с ведома властей, иначе магазинам не давали бы столько водки для "плана" и не было бы премиальных за водку в ресторанах и буфетах. А народ на глазах вырождается: когда бываешь в толпе, особенно на вокзалах, бросается в глаза обилие низкорослых, с низкими лбами, с тупым выражением лица, с кривыми ногами, скверными зубами. И чем младше возраст, тем больше среди них таких неразвитых... Уже и в официальном, для учителей, бюллетене министерства просвещения Союза говорится, что 14% школьников — дебилы, 36% — дети распавшихся семей, где отцы либо в тюрьме за преступления, совершенные по пьянке, либо в психлечебницах на почве того же алкоголизма. И с внезапной острой любовью к народу, русскому народу, чью широту души и доброту Миша познал в годы войны и голода, подумал он, что власти намеренно спаивают русских не потому, что нечем задурить головы или набить желудки, и водка заменяет пищу — духовную и столовую, а потому, что власти боятся просвещения, и только водка способна отупить мозги, удерживая их в вековой темноте.

Много было на вокзале "плюшевой России": изъезженных работою колхозных баб, Псковских и Львовских, и Смоленских, и мужиков с кепчонками с пуговкой, в кирзовых сапогах, наехавших в Ригу за "маровскими" кофточками, за обыкновенными, скверными перчатками, за тем же портфельчиком для школьников, и за носками, которых в "глубинке" не достать. А латыши косились на "Россию", и можно было понять их чувства: у них свежи были в памяти времена, когда в магазинах хватало всего, за исключением очередей, и думали латыши теперь, что из-за этих орд мешочников нет в Латвии ни

одежды, ни колбасы, ни селедки, и не могли латыши любить русских, как правило, нищих и, как правило, уверенных, что их — советская жизнь — и есть самая лучшая на свете.

А русские толпились в магазинах, брали, все, что попадется, и удивлялись, отчего продавцы латыши не хотят отвечать по-русски на вопросы и вообще не хотят обслуживать русских.

И снова, в который раз, спрашивал себя Миша, что сделали большевики с Россией, с великой и обильной, которая славилась льном и хлебом и могла бы прокормить в десять раз столько населения?

Миша сел на скамейку, около него две женщины, не стесняясь, вели разговор:

— Боже ты мой! В Израиль! Что она там делать будет?

— А что тут, то и там. Пойдет на завод ткачихой.

— К хозяину?!

— А беса ли ей, кто платит? У хозяина хоть бастовать можно!

— Так там же одни евреи!

— Ну и что? Евреи — народ умный. Вот, Нюрка, прожила со своим Изей шесть лет, ни разу не выпил, не ударил. Ты к ним будь человеком, они к тебе.

— Ни-и, я бы ни за что. Чужая страна, язык какой-то справа-налево.

— Ну тебя. Я бы из-за одних тряпок махнула. Я Нюрке говорю: ты мне хоть перчатки пришли, я тебе лен pošлю.

— А те по телевизору, которые плакали, детей протягивали? Врут?

— Что у нас мало всяких? Послали с заданием, не так еще заплачешь.

Дальше, на той же скамье сидел майор авиации, читал "Известия". Миша видел этот номер, там через всю страницу тянулся заголовок: "Зверства израильских агрессоров". Ниже помещалась статья собственного корреспондента "Известий" в Бейруте — Сейфуль-Мулюкова. Он ездил в деревни, куда заходили израильские танки. Три жителя были убиты, шесть домов разрушено снарядами. И оставалось читателю неясным, как это израильские танки врываются в Ливан, а Ливан не объявляет Израилю немедленной войны? Как это так: палестинские патриоты мужественно сражались против ворвавшихся

израильских танков, а ливанская армия не думала даже давать отпор агрессору?!

Майор читал свою статью, женщины вели свой разговор, плюшевые бабы перебирали купленное добро, увязывая ту же узлы, дети впрок наедались апельсинами и колбасой. И это тоже была привычная Россия — Советский Союз, вторая в мире по могуществу держава. И тут же, почти рядом с майором, два еврея кричали наперебой в трубку телефона-автомата:

— Таможенный досмотр завтра!

— Нет, нет, билеты самолетом не дадут; только беременным или больным!

— Скажи Якову, чтобы дал шоферу пять рублей, а то проспит!

И это тоже было привычным и будничным, а ведь должно было смущать, сводить с ума.

Миша вспомнил, как на той неделе ходил он на улицу Юглас 16, смотреть, как упаковывается и проходит таможенный досмотр Дорик Яфе. Раньше, кажется до середины июля 1972, в Риге, как и в других городах СССР, евреи, уезжающие в Израиль, сами укладывали свои вещи на дому. Начиналось с того, что уезжающие искали "пакеров", пакеры приходили по субботам или в воскресенье — в нерабочие дни, пилили доски, сбивали ящики. Нужно было достать эти доски, бегать по складам, платить "хабар", потом искать машину, чтобы привезти доски, втащить их домой, на пятый или какой этаж. Пакеры пилили доски, сбивали ящики, соседи снизу и сбоков стонали... Уезжающая семья бегала по людям, собирала шпагат, ящики из-под вина, оберточную бумагу, но главная трагедия была — вата. Вата появлялась в аптеках раз в три месяца и ее давали по 200 граммов на человека. Люди платили впятеро за вату, покупали (ясное дело, по блату) вату "пальтовую"... Потом ящики с вещами, с книгами, мебелью, посудой надо было вынести во двор, поставить на машину. Если квартира находилась высоко, звали кран, платили 50 рублей за вынос ящика, а ящики не шли в окна. Пакеры разрезали раму, вынимали окно, крановщик подцеплял ящик тросом, вытаскивал в окно, ставил на машину. Машина ехала на станцию "Рига-товарная", там надо было заплатить грузчикам, чтобы они сняли ящики с машины, втащили на склад. На складе ящики взвешивали, и

если оказывалось, что ящик тянет больше 500 кг, эмигрант платил за "перевес"... Являлись таможенники, ящики вскрывали, вещи выкладывали на пол, пересматривались. Потом евреи платили за "обратную упаковку"...

Наживались на этом все, кому не лень было заняться отгрузкой добра уезжающих. Слухи о сказочных взятках пакеров и иже с ними достигли ушей Совета Министров Латвии. И вышло распоряжение: безобразие прекратить, вещи везти незагруженными на площадку "Югла-16", там сперва подвергать таможенному досмотру, потом паковать и отправлять на станцию.

Хана давно требовала, чтобы Миша пошел, посмотрел, как и что на "этой Югле", а Миша все откладывал, потому что не верил, что и они когда-нибудь предстанут перед таможенниками, и не хотел беречь душу картинами чужих отъездов.

Но вот пришел Дорик и попросил "побыть рядом на Югле": жена его сидела в Москве, выпрашивала в Голландском посольстве хоть 500 рублей на дорогу — в долг, а теща болела.

Дорик был дальним родственником Ханы, таким дальним, что оба они не знали каким, но иногда Комраты останавливались на улице потрепаться с Яфе о погоде, о свадьбах и разводах. Весть что Дорик собрался в Израиль, удивила Мишу. Он считал, что парень хорошо устроен, кажется, главным инженером на каком-то заводе, член партии, а она — жена Дорика — была в свое время пионервожатой, о ней писала московская "Пионерская правда".

...Миша ожидал, что его попросту не впустят на территорию, где происходит досмотр и упаковка багажа уезжающих евреев, но территория оказалась открытой, как дом без хозяина: ворота стояли настежь, а в глубине двора виднелись вторые — тоже распахнутые ветром. Двор был покрыт смерзшимся за ночь снегом, но под ним угадывался мусор, неубираемый и разный; торчали из белого снега ржавые полосы железа, бугрились стружки.

Слева от главных ворот находился заросший кустарником сарай, справа — сарай побольше, кирпичный, с кованой дверью, а напротив ворот — еще строения, приземистые, вдавленные в грунт, с глухими окошечками, не то хранилища забытых лет, не то каторжные мастерские. На всех дверях висели тяжелые амбарные замки. Открыта была только дверь автобуса без колес и мотора, стоявшего на холмике посередине двора.

Из окна, заделанного жестью, торчали колени железной трубы. На скрипучем снегу приплясывало человек десять мужчин. Один напевал "Хава нагила... хава нагила... там-та-рам"... остальные смеялись, хлопали руками по бокам — грелись. Возле главного сарая был помост, чтобы удобнее было сгружать с машин багаж. На помосте заснеженные стояли рыжее пианино "Рига", какими их делали при Хрущеве, стол, венские стулья, один на другом, как козлы в драке. А около помоста, в углу — между забором и стеной — трубой торчал ковер, и, привалясь к нему спиной, на мешке с книгами дремала тетка в шубе искусственного каракуля и валенках.

В дверях автобуса показалась пышная блондинка в пуховом русском платке и сообщила:

— Не горит! Надо поискать чего сухого...

Несколько мужчин прекратили пляску, отправились за угол искать топливо. Миша пошел за ними.

За углом кирпичного сарая они увидели штабеля досок, а впритык к сараю нечто вроде крытой веранды с полом, и на этой веранде циркулярную пилу и козлы, на которых стоял недоконченный ящик. Два латыша в стеганых ватниках и стеганых же ватных брюках точили топоры и ругали бригадира. Бригадир был тут же и отвечал на ругань проклятиями: речь шла о каком-то Янке, которого бригадир отпустил на день, а теперь работать некому.

— Вам чего?

— Сухую доску. Там в автобусе одна просит.

— Пошла она к... Что она мне — начальник? Тут начальников кругом не оберешься: Юрочка — начальник, таможенники — начальники, диспетчер с автобуса — тоже начальник. Все командуют, а мы шуруй. Мы тут на морозе ищем, а что мы

имеем? Три рубля за ящик? А там в тепле дерут, будьте здоровы! — выложил бригадир.

— Да уж дерут: — согласились плотники. — Там с вас сдерут!

— А пошли они все к... матери! — рассердился бригадир. — Не стану делать ящики, пускай попляшут! Пила у меня не работает. Сколько просил заменить ремень, не хотят — не надо. Шабаш! Кончай работу!

— Как это кончай? — засуетились евреи. — А как же мы уложимся?

— А мне что?

— Не-ет, мы должны сегодня! У нас билеты на поезд куплены! Виза кончается! — ...на вашу визу!

— Как так... ?! Да вы знаете, что билеты заказывают через "Интурист", а там очередь на три недели? А если визу продлить, так давай 5 рублей за сутки продления, а многие уже из нас сдали квартиры домоуправлениям, ночевать негде?!

— ... я хотел!

— Ммм... — сказал один еврей в кожаной тужурке, видимо, шофер или механик, а значит, денежный человек. — Конечно, холодно у вас и пила дрянь, мы понимаем, но если надо? Все мы люди...

— Нет, я без десятки и разговаривать не хочу! — заявил бригадир.

— 10 рублей?

— На каждого!

Евреи сдвинули головы, сложили деньги. Бригадир взял 30 рублей, сунул в карман.

— А доски кто мне принесет? Что я, казенный?

Евреи пошли к штабелю, остановились. Бригадир подошел к доскам, закурил, сколупнул с досок наледь, пощупал, потрогал, ткнул ногой:

— Вот эти.

Доски были насквозь сырые, каждая весила килограммов 15.

— Господи! — сказал кто-то из несших. — Это сколько же весит ящик из таких дощечек! Мы же будем оплачивать воду! Грузить же можно только 500 кг!

— А чихать они хотели на твои заботы! Не могли сделать этот

досмотр на 600 метров дальше, около железной дороги, так нет, тут тебя погрузят на авто, а "Рига—товарная" завернет весь багаж на переделку.

— Как это завернет!

— А очень просто. Весов тут на "Югле—16" нет, пакуют "на глазок", вчера моему брату один ящик нагрузили — 870 кг! Второй — 760. Ну, приехали мы на товарную, там на весы, а весовщица и говорит: "Не принимаю! Везите обратно!" А шофера деньги требуют за возку обратно, им за это казна не платит. Брат выложил 35 рублей, привезли сюда, а тут уже день кончается. Не принимают на перегрузку. Так и не приняли. Сегодня утром будут начинать.

— А мы?! Мы же назначены на сегодня утром, на 8.00!

— А взгляни на часы! Уже четверть девятого. И еще таможенники не пришли. Начнут в половине девятого, пропустят брата, его вещи уже внутри. Потом та женщина, что сидит на книгах. Она вчера на 14.00 была назначена, и вот сидит, даже вещи внутрь не впустили — некуда, там ящики моего брата на перегрузку стоят. Так что, считай, тебя начнут смотреть после обеда, часа в три.

Человек, которому высчитали, что его вещи просмотрят в три, испугался:

— У меня билеты на Москву на 18.40!

— Сдашь билеты. Еще пока тебя просмотрят, пока потом на товарную повезут, пока там квитанцию оформят... Еще можешь совсем не попасть на склад.

— Ладно, посмотрим! — утешил испуганного его товарищ. — Все равно деваться некуда.

Они перетаскали с кубометр досок, положили около пилы. Тут бригадир нашел сухую доску, расколол ее собственноручно, и евреи пошли с сухим топливом растапливать "буржуйку" в автобусе — греть диспетчера и греться самим.

Кто-то потом рассказал Мише, что никакая доска не нужна, есть у диспетчера сколько угодно колотых сухих, но это трюк такой, чтобы послать клиентов к бригадиру. Пока в СССР в ходу деньги, каждый хочет иметь их много...

Так или иначе, печку распалили, народ полез в автобус греться. Только дама у ковра осталась на морозе. Видимо,

опасалась, чтоб кто-нибудь не украл ее добро, которое пришлось сторожить всю ночь.

В половине девятого явились упаковщики фирмы "Ригас экспрессис" во главе со знаменитым на весь уже Израиль бригадиром Юрой — атлетом, годным для мировой сборной по баскетболу, одетым во все нейлоновое, импортное.

Спустя минут пять во двор вошли два молодых человека; один болезненного вида с пшеничными усами, напоминавший лицом и согбенной спиной ссыльного народовольца, и второй — смуглый, нахальный, так и сверливший взглядом пухленькую диспетчершу и заодно уж старую еврейку возле ковра.

— Бригада! Бригада! — понеслось по людям. — Сегодня хорошая бригада, нет майора! Одни молодые.

Усатый побарабанил по железной двери палкой, двери открылись, и таможенники вошли в сарай. На миг стали видны вдоль мокрых стен высокие столы, обитые жестью, тусклые фонари в решетках под потолком и ящик, посередине помещения.

Потом дверь захлопнулась и долго никого в сарай не вызывали.

— Габерман!

Женщина у ковра вскочила, глотнула воздуха, помчалась в двери.

— А вещи?!

Женщина начала тащить ковер, ковер упал, из сарая вышли трое мужчин в брезентовых робах:

— 10 рублей.

Хозяйка кивнула, пакеры (официальные, из "Ригас экспрессис") втащили ее вещи за пять минут. Дверь скрипнула и затворилась.

— А я?!

Человек, о котором Миша уже знал, что его вещи вчера вернули на перепакровку, глупо стоял перед окованной железом дверью.

Его брат вскочил на помост, забил руками в дверь. Из щели выглянул таможенник:

— В чем дело?!

— Его очередь! Он с вечера ждет! Ящик на перепакровке!

— Отойдите! — сказал таможенник. — Здесь не бердичевский базар, — и дверь закрылась за его народовольческими усами.

Дорик приехал около девяти. К тому времени ничего нового на дворе не произошло, если не считать нашествия кошек, собравшихся на холмике возле автобуса. Кошки учуяли запах рыбы: диспетчер завтракала копченой салакой.

— Что тут происходит? — спросил Дорик бодрым, энергичным голосом человека, намеренного многое совершить за короткий день. На улице, по ту сторону ворот остановилась машина ГАЗ-51, два парня спрыгнули с кузова, пошли к Дорику:

— Сгружать, хозяин?

— Погодите сгружать! — сказал Миша. — Я тут ничего не понимаю, но еще не прошли люди со вчера.

— Как не прошли?

Открылась дверь сарая, где происходил досмотр, и женщина, прокараулившая всю ночь свой ковер, вытащила его на помост.

— Не пропустили! — слезы заливали ее голос. — Можно чтобы был не дороже 250 рублей...

Публика молча выслушала новость, каждый прикладывал, а в какую цену его собственный ковер?

Женщина вернулась в сарай, а Дорик спросил недоуменно:

— В рижской таможне висит список вещей, который можно вывозить, там сказано: "Два ковровых изделия на семью" и никакой цены!

Никто не отзывался.

— Они самоуправствуют! — настаивал Дорик.

— Ну и что? — спросил шофер. — Ты можешь им указать? Или забастовку устроишь?

Дорик скис. Пассивное отношение толпы к самоуправству таможенников, неожиданная задержка с досмотром, весь вид этого двора с тюремными сараями, подействовали угнетающе и он, как всякий советский человек, телом ощутил реальное свое бессилие в борьбе с неправдой, или лучше сказать, правдой неписаной, правдой не для всех, потому что в дополнение к тысячам запретительных законов существовали и действовали тысячи же инструкций, поправлявших законы, либо искажавшие их до прямой противоположности, и каждый взрослый

гражданин СССР знал об этом и хоть бы раз да сталкивался с ними — с всесильными инструкциями, авторами которых были самые важные люди в Кремле.

— Погодите сгружать! — сказал Дорик. — Я выясню.

Он сел на ящик, закурил, нервно смотрел на кованую дверь, пока она открылась и та же несчастливая женщина вынесла и бросила на помост мясорубку и пружинную взбивалку для сливок:

— Нельзя по две!

И еще раз отворилась дверь и женщина выбросила — безразлично и тупо — книжку "Домашняя хозяйка" и утюг с треснувшей ручкой.

Шофер в кожаной куртке (или механик?) поднял книгу, заглянул на первую страницу:

— Издание до 1946! — пояснил он. — До 1946 — вывозить нельзя.

— Черт! — выругался Дорик. — У меня наверно в книгах есть кое-что до 1946!

— А может и проскочит! — пожал плечами шофер. — Они дико не любят книг. Инструкция велит листать каждую, все страницы, чтоб не спрятали там деньги или тайны. А это — времени же надо, день угробишь! Так они иногда часть листают, а часть уже нет, что они — идиоты? Какие у нас деньги после дипломов?!

— Вы платили?

— 9000. А потом нашли, что жена в тысячу девятьсот затертом году посещала два курса Ленинградской консерватории, так добавили еще 1700!

— У них все есть! Все есть! — сказал парень в зеленом пальто. — Я в 1968 сделал аварию в Тюмени, нашли и высчитали 570 рублей!

— Как им не знать, если на каждого еврея у них есть "дело"? Мне один подполковник говорил: в КГБ сейчас 750.000 человек! При Сталине было 300.000.

— Ни черта они не знают! — сказал Дорик. — Ни дьявола. Меня два раза вызывали в КГБ, как это я надумал ехать в Израиль — у меня тесть полковник на секретных заводах. А я с

первой женой семь лет как разведен. А у второй вообще нет родителей.

— Штоковский!

Народоволец стоял в дверях сарая, глотал свежий воздух. Внутри пахло мокрой стружкой, толем.

Народоволец был знаком Мише: он видел его несколько раз в университете, где таможенник изучал английский язык. О нем говорили, что он любит выпить и американский джаз.

К уезжающим он относился с нескрываемой злобой, временами смахивавшей на зависть.

Шофер и его брат поспешно пошли в сарай. Минут через пять шофер вынес, как выносят нашкодившую кошку за хвост, серебряную суповую ложку:

— Вчера пропустили, сегодня по новой ищут — и забодали!

Потом он вынес сварочный аппарат, со шлангами и резакми, пнул его ногой:

— Я говорил Абраше: в Израиле такая аппаратура, закачаешься! Нет, сами мы ищем себе приключения! Он, видите ли, к своему аппарату привык!

В одиннадцать из сарая вышла женщина, у которой не пропустили ковер, села на чужой стул, заплакала. Ей принесли воды, она махала руками и, размазывая слезы рассказывала:

Бригадир спрашивает: "Как писать будем? Ящик стоит 120, но можно записать будто 150, а вы дадите нам 170"... А что я могу сделать? Не дать? Они тебе так погрузят, ни одна тарелка не доедет. Дома в полиэтилен укладывали, стружками, бумагой перекладывали, а тут толи полоска и все тебе... Дала я ему 170 за каждый ящик, а сама вижу, таможенники все выбрасывают, все выбрасывают... ложки, не серебряные, простые, выбросили, говорят нельзя 12 ложек! Тарелки у меня болгарские, по 3,50, тоже говорят нельзя. Лекарства, мыло... все нельзя. Я говорю бригадир: "Почему они все выбрасывают? Может, им тоже надо уплатить?" Он даже палец поднял: "Тсс!" А сам говорит, так тихо: "Сто рублей!"... Так они мне часть вещей вернули в ящик... Господи, кто сейчас евреев не обирает?

Она сидела на ящике посреди двора, вокруг нее толпились

люди, которым еще предстояло пройти досмотр и дать себя обобщать, ей нечего было скрывать от них. А если бы даже и нашелся среди толпы агент КГБ, что он мог сделать с этой женщиной? Обвинить ее в клевете? Упечь в тюрьму? Поднялся бы новый скандал, еще одно имя облетело бы западную печать, и вместо решения еврейского вопроса, пришлось бы заниматься выведением новых пятен со своей коммунистической репутации.

Да и не думала эта обобщанная женщина о КГБ и мировой политике; у нее выкинули ковер, купленный за кровные гроши, она, может, ночей не досыпала, пока достала его, пока дошла по блату до ковра... ей было наплевать на все высокие материи, потому что теперь надо было найти шофера, готового отвезти ковер в комиссионку, да еще умудриться продать его, а ведь ей завтра уже полагалось покинуть пределы СССР.

А в дверях автобуса стояла пышная блондинка — диспетчер фирмы "Ригас экспрессис" и сочувственно слушала. Может быть, она и не любила евреев, может быть, да и, наверняка, имела доход от того, что совершалось за кованой дверью сарая, но она была то, что называется, простая советская женщина, она знала цену копейке и цену вещам, особенно тем, что покупаются для новой жизни, — вещам хорошим и дефицитным, и ей по-женски, по-советски было жалко выброшенного ковра и вышвырнутых резак и людей, погоревших на досмотре.

— 50 рублей на ящике! — взвесил Дорик. — Ого-го! За день, сколько они тут ящиков пакут? Да-а... жирная лавочка!

Между тем, парни, томившиеся в "ГАЗе" с вещами Дорика, сошли на землю и рассматривали с нескрываемым удивлением происходящее.

— Это за что мясорубку выбросили?

— Лишняя. Ничего нельзя, что по два.

— Почему нельзя?

— А чтобы мы в Израиле советскими вещами не спекулировали!

— Вот те на! А стол за что? Тоже лишний?

— Не, полированный! Дорогой, значит. Мебели можно один комплект, если он у тебя стоял больше года, и еще один новый

предмет. Если новых предметов два — нельзя. Выбирай, который оставить, второй выбросят.

— Как это год стоял?

— А так. Купил, скажем, спальный гарнитур: кровать, столики, шкаф. Неси, значит, справку, что соседи видели его у тебя год назад, или квитанцию из магазина.

— Ммм... Что у нас мебели мало?

Второй грузчик долго кружил вокруг стола, вынесенного из сарая, спросил:

— А кто хозяин?

— Я — хозяин, — сказал шофер, или механик, в кожаной куртке.

— Продаешь?

— Можно.

— Сколько?

— 28. Магазиновая цена.

Грузчик полез в карман, отсчитал деньги:

— Благодарю. А то я год не мог складной стол захватить. Как приду в магазин, все нет и нет.

— Дела! — сказал другой грузчик. — Что у нас леса мало? Первое место в мире! Срамота какая, возить за рубеж барахло! Я бы только новое выпускал. Чтобы Европа видела, что и мы умеем.

— Тебя не спросили, — сказал его товарищ. — Так что будем делать, хозяин, сгружать или назад поедем?

— Обождем. Я заплачу за простой, — попросил Дорик. — Где 11 000, там еще пару десятков.

— Это что же, так 11 000?

— За дипломы. Кто с дипломом, плати за образование.

— 11 000?!

— Есть и побольше, если кандидат наук, так все 17 000.

— Мама родная! И ехать не захочешь!

— Так ведь для того и берут, чтоб не хотел!

Грузчики покрутили головами: много было во дворе евреев, видимо, никакая подать на дипломы не удерживала их, видать, знали они, зачем уезжали и почему платили такие деньги, лишь бы уехать.

А потом появился веселый человек, мохнатый, точно миш-

ка: волосы росли у него в ушах, на шее, лезли из воротника рубашки, и руки его были плюшевые, все в курчавых завитушках; появился, увидел пианино на помосте, взял стул, пристроился и заиграл, насвистывая и напевая:

— Ах винер блут, винер блут...

Миша узнал его, это был тот самый человек, который в ОВИРе сумел своими шутками разрядить атмосферу, когда, казалось, вот-вот взорвется лейтенант и будет не улаживание виз, а 15 суток за хулиганство в милицейском учреждении.

— Живем! — сказал плюшевый. — Жизнь бьет ключом и все по голове, у кого она есть. Кто-нибудь видел мою тещу, или, как говорят в Америке: мать ее?

А его теща только что уехала с ковром и мясорубкой на попутной машине — продавать непропущенное, чтобы попытаться купить еще что-нибудь, что может проскочить в ручном багаже.

...Дорик прождал до вечера, а в пять часов, когда зажгли фонари на улицах, и двор "Юглас-16" потонул во мраке, вышли из сарая таможенники и бригадир пакеров с его людьми, заперли учреждение и скрылись до утра.

— Черт с ним! — сказал Дорик. — Сколько просишь, механик, за ночь простоя?

И механик, до того сонно мечтавший в кабине, проснулся и сказал:

— Сто.

И с грузчиками Дорик договорился на завтра. Как уже было сказано, где потеряно 11 000, там еще двести рублей ничего не составляют. Все равно Яфе продали дачу в Саулкрасты, автомобиль родителей, которые не собирались уезжать, и всю свою мебель.

У Марика на новой его квартире со всей новой мебелью Миша чувствовал себя неуютно, как в гостинице, и все боялся не туда сесть и не за то взяться. На старой квартире, на тихой улице Эдуарда, у Марика были четыре комнаты с ванной и

кухней, а в каждой комнате по печке. Марька ругался страшными словами каждый раз, когда надо было спуститься в подвал, набрать в мешок колотых дров и втащить его на четвертый этаж, а потом долго дуть в поддувало, разжигая мокрые щепки...

Он ругался матом, покупая дрова, клял свою жизнь, нанимая пильщиков, и все равно Миша не верил, что шурин затеял обмен квартиры из-за печек. Не из тех людей была Белла Танненбаум, чтобы менять четыре комнаты на три из-за отопления. Нет, не из тех была Беллочка, кто тратит свою пробивную силу на такие сделки. Истина состояла в том, что она хотела быть человеком, который "сам себе сделал квартиру": не унаследовал, не получил в подарок, а добыл в упорной битве с законом и конкурентами. Иначе Танненбаумы не стали бы продавать, переезжая, мебель и ковры — все, что осталось им от стариков.

Стояла теперь эта прочная, на века, мебель: высокий, точно крепость, с башенками буфет моренного дуба с зеркалом и мраморными полками, диваны с кожаными сиденьями и полками над спинками, дюжина тронных кресел с резными подлокотниками; стояла мебель где-то в Грузии, в доме, таком же старом, прочном и моренном от ветров и дождей, над горами и облаками; стояла, подпирая тяжелыми своими створами солидный авторитет хозяев — людей, знающих цену деньгам и вещам. Спасибо им, любителям красивого, освободившим не одну квартиру в Риге от памятников старины, платившим сказочные деньги за покупку и перевозку вещей, сработанных немецкими мастерами в те времена, когда колбасу делали из мяса, кастрюли из красной меди, а мебель из дерева, и если была вещь моренного дуба, так насквозь, без всяких там фанеровок, размокающих от дождя и от квартирной сырости.

Мише было жаль той, старой мебели, купленной отцом Беллы еще перед его свадьбой в 1919 году, но еще больше он тосковал о печке, потому что даже в Риге, обильной мейсенскими, кубовыми печами, та печка отличалась красотой зеленых изразцов и бюргерского тяготения к патриархальной чинности.

Была она большая — от пола до потолка. Внизу помещалась золоченая решетка и камин, а посреди — на уровне лица —

находился белый, фарфоровый горельеф: за столом, большим, как футбольное поле, сидели распаренные молодцы в чулках и шляпах с перьями и пили пенившееся в кружках с крышками пиво. А на переднем плане, пышная (платье трещит от груди и того, что спереди и сзади, в деревянных клумпах и белом чепце) хозяйка корчмы с ключами и кожаным кошельком на поясе.

Когда в квартиру провели тэцовскую горячую воду, печка стала ненужной. Многие в таких случаях выбрасывали свои печи на мусор, выигрывая метр площади, многие увозили на дачи и ставили печки там, совершенствуя фольклорный антураж. Миша видел дачи латышей — писателей, артистов, художников — им запрещалось культивировать национальные традиции в театрах и печати, они окружали себя предметами латышского быта на дому, особенно за городом. Дачи строили из бревен, купленных в старых усадьбах, которые мешали колхозам расширяться. Делали в бревенчатых дачах каменные — под корчму — стенки и очаги с вертелами, крыши крыли соломой...

Марькиной печке для такой дачи цены не было; он мог бы поставить ее у себя в Бирини на зависть соседям, но Марик удивил Европу — продал печку своему проректору. Даже Белла была поражена: парень убил двух зайцев разом. Проректор отвалил, не крикнув, 600 целковых, а кроме того, стал неразлучным другом дома. Миша полагал увидеть его красную лысину и теперь, но, войдя в квартиру шурина, убедился, что, кроме Вани, соседа снизу, все были тут евреи.

Квартира была, как все такие кооперативные квартиры в Кенгарагсе, с прихожей, из которой одним взглядом можно охватить все, что есть в парадной — первой — комнате.

Миша увидел тех, кого и ожидал увидеть, и про себя тяжело вздохнул. Он знал этих людей, как самого себя, и надоели ему они, как сам он надоел себе. Он знал, что каждый будет говорить и какими словами — благо они собирались то у того, то у другого, в течение многих лет, и каждый выступал в своем репертуаре. Если что и менялось, так площадь лысин и объемы талий.

В парадной комнате, как следовало ожидать, сидел Марик —

на высоком стуле подле телевизора, нарядный, в новом сером костюме и белой нейлоновой рубашке при искристом галстуке, и беседовал с Арнольдом Викторовичем, своим коллегой по кафедре. Арнольд Викторович тоже был при полном параде: в синем костюме с цветастым галстуком и таким же цветастым платочком в кармашке. А слева от Марика ерзал на табуретке Ефим Петрович, по паспорту Хаим Пинхасович, один глаз у него смотрел в Киев, другой — в Москву, при этом Хаим Пинхасович, он же Ефим Петрович, шепелявил, что не вязалось с его работой лектора-антирелигиозника.

Все трое были маленького роста, все — некогда курчавые, но теперь облысевшие и с брюшками.

У противоположной стены на диване, покрытом ковром, расположилась Роза Израилевна — Белкина тетя со стороны матери. Как всегда, в компаниях, тетя Роза вынула из коричневой, почти портфельной сумки, коробку "Примы", ножницы, спичечный коробок и янтарный мундштук, разрежала сигареты пополам, вставляла в мундштук, выкуривала, не роняя пепел, потом стряхивала золу в коробок и начинала вторую половинку "Примы"; и как всегда, когда они оказывались в одной компании, к тете Розе примостился Дулечка Нахомзон — поэт и бунтарь, без гроша и без курева, но в красном, грубой шерсти свитере до колен и вельветовых брюках, сроду не знавших утюга. Роза и Дулечка курили, а возле них терпеливо отмахивался от дыма Изидор Цаль — международный комментатор рыбацкого радио: нервный, щуплый, с усиками-черточкой, знавший 8 европейских языков и слывший среди знакомых человеком непрактичным и неделовым. И уже в самих дверях в спальню, устроился на пуфике другой газетчик — известный репортер Цаль Изидор — с круглым лицом и острым носом, всегда довольный жизнью и всегда готовый помочь друзьям, притом деньгами!

А возле книжной полки, стоя на ногах, вели беседу Марькин сосед Ваня и адвокат Вия Каган, женщина пышная, с виду мягкая, но очень себе на уме, одетая с завидным постоянством в голубое. Возле них торчал угрюмый, тяжелый чертами лица и фигурой муж Белкиной сестры — инженер Новиков. Имя его Миша так и не запомнил. По документам Новиков значился



русским, но стоило посмотреть на его почтенный нос и послушать, как он картавит, чтобы тут же понять, что документы эти куплены, видимо, в войну, когда за хорошее кольцо можно было словчить и не такие бумаги.

Тамара побежала в детскую, Миша повесил пальто, вошел, сказал с порога Марику:

— Сто двадцать лет! Расти большим и умным!

Марик кивнул. У него был важный разговор с Арнольдом о розах, которые сажают весной и они цветут в первое лето. Арнольд сообщил, что у него такие розы уже посажены возле террасы, которую он собирается нынче обнести "шведской изгородью" из красного кирпича.

— Да, шведы умеют создавать уют! — сказал Марик.

— В Швеции очень чисто, никто нигде даже не бросает бумажки! — поспешно заявил Ефим Петрович.

— Что вы хотите! — Арнольд Викторович развел руками. — Германцы! Шведский язык — германской группы языков, та же культура!

— Идиш — наречие северогерманского! — заявил Ефим Петрович.

— С примесью иврит. Но болгарские евреи говорят на

диалекте испанского. В Израиле на этом языке выходит газета и работает радио! — сообщил Марик.

Раздражение поднималось в Мише, как прилив в лунную ночь. Вот ведь, что удивительно, — думал он, — эти люди рассказывают в общем-то известные вещи, зачастую снабжая их чудовищно безграмотными примечаниями, но делают это с таким видом, будто хлебом делятся в голодный год! И со злорадством, стыдным и сладким, он вообразил себе эту троицу через 15 лет: вот они, со вставными челюстями, розовые и умытые, как выставочные поросята, с выпятившимися животиками, сидят на террасе Марькиной дачи, окруженные розами и крыжовником, пьют чай и рассуждают о широком мире, как сверчки за печкой, полагающие, что они знакомы с тем, как шепчутся деревья, как скачут лошади и поет жаворонок.

— Господи! — сказал себе Миша. — Я никогда не понимал, как можно жить в этой стране с мыслью, что это навсегда. Как можно здесь устраивать быт, строить дачи, обставляться... Наверно, я мог бы получить квартиру, если бы дрался, если бы писал Косыгину или Хрущеву. Но я не хотел. Не хотел квартиру, не хотел машину, не хотел мебель. Мне было страшно думать, что я никогда не выберусь отсюда — из могилы. Я всегда воспринимал жизнь в СССР, как временную, проходящую, поэтому у нас и нет ничего с Ханой, а у этих людей есть. Ну и черт с ними. Клянусь тебе, господи, если бы я сегодня был знаменит, как Гилельс или профессор Браун из рижской консерватории, имел бы автомобиль, персональный оклад, звание, я был бы несчастным, потому что не мог бы никогда порвать с большевиками и выбраться в широкий мир...

Браун не дает своей дочери разрешение уехать в Израиль. Наши советские — социалистические, ленинские — законы гребуют, чтобы родители высказывались письменно, с заверением нотариуса, о том, как они воспринимают желание детей уехать в капиталистическую страну. Неважно, взрослые ли это дети, есть ли у них своя семья. Важно, что родители могут не согласиться, что можно построить на пути эмигрантов еще одно

”законное” препятствие. Браун не дает дочери разрешение, играет патриота, на лекциях он кричит латышским студентам: ”Вы не учитесь, надеетесь пролезть на другой курс, точно израильские агрессоры на арабские земли”... Ну, дадут этому Герману Брауну звание профессора. Еще сто рублей к окладу. И будет он навечно замурованный сидеть в СССР, а любой парижский трубач из скверного оркестра идет и покупает билет в Бразилию и видит мир без разрешения КГБ и без партийной комиссии... Или я не понимаю психологию браунов? Может быть, это русский характер — любить своих господ? Стремиться к рабству? Ведь было же: когда царь отменил крепостное право, тысячи крестьян отказывались уйти на волю, оставались до конца дней при своих барах и служили им с таким сладострастным самоунижением, какого не могли добиться кнут и цепи! Может, этим и объясняется, что народные и заслуженные артисты, художники, актеры, инженеры проходят унижительную процедуру писания тысячи анкет, издевательства пограничников и таможенников, но потом по-рабски возвращаются в СССР служить господам, которые глушат радиовещание из-за рубежа, вскрывают письма советских граждан, заставляют людей копаться в личной жизни соседей, наушничать и доносить, при этом оплачивая труд рабочих и интеллигенции так низко, как не рискует ни один капиталист?

— Болгарские евреи относятся к сефардам! — сказал Ефим Петрович.

— Это — проблема! — согласился Марик. — Две трети населения Израиля — сефарды.

— Они очень хорошие солдаты! — сказал Ефим Петрович. — Как друзья.

— Друзья служат в пограничных частях! — сообщил Марик.

— Да-да, они прекрасные следопыты и каменщики! — подхватил Арнольд Викторович. — Между прочим, в Израиле сейчас строительный бум, хороший каменщик зарабатывает до 1600 лир в месяц!

— Ну, не 1600, а меньше! Но и это хорошо, потому что инженеры получают до 2000! — сказал Ефим Петрович. — Высокий жизненный уровень!

— Относительно! — Марик улыбался своей традиционной

улыбкой сытого пообедавшего гурмана. — Квартирная плата в Израиле одна из высших в мире, подоходный налог равен 40% зарплаты...

— Да-да! — сказал Арнольд Викторович. — Хорошая спальня стоит больше 5 тысяч лир! У них же совершенно нет леса, все дерево привозное!

Удивительно, как они знали израильскую жизнь и с каким апломбом рассуждали о ней теоретики эмиграции, считавшие долгом еврейского патриотизма говорить об Израиле, где надо и не надо, но не помышлявшие рисковать положением и барахлом, чтобы уехать в страну своего народа.

— У них нет леса! — сказал Миша. — Они едят кузнечиков и спят в гамаках между пальмами. В Израиль надо везти "Юбилейные" гарнитуры, спички, железные кровати и по две люстры на каждого члена семьи. А еще не забыть сигареты — черную "Элиту", икру и водку. В случае чего, продашь за тысячу долларов бутылку. Впрочем, еще лучше везти туда самовары и собак. У них совершенно нет самоваров и овчарок.

Он не стал слушать, что ответит Марик, подошел к компании возле книжной полки, спросил:

— Как жизнь, Ваня? Я думал, ты уже уехал.

— Нет. Все проверяют, еще месяца два потянут с визами. Черт знает что, ну ехал бы по первому разу, так ведь я только 18 месяцев, как из Египта. Что у меня за это время дядька в Америку сбежал, или я на еврейке женился?

Вия Каган наставительно заметила:

— Каждое государство защищает свои интересы, как может.

— Не защита это, а идиотизм! — рассердился Ваня. — В нашей конторе один инженер восемь месяцев назад был в Венгрии. На той неделе приходит оттуда — мы там одну машину прокручиваем — телеграмма: "Не получается. Пришлите Назаренко". Ну, наши сейчас же в Главк, Главк — в министерство, те- куда надо: так и так, срочно нужна виза Назаренко, а то — миллион неустойки! Проходит день, три, ни шиша. Министр едет в КГБ, а ему говорят: "У вашего Назаренко жена жила на оккупированной территории". Министр аж закачался: "Да вы что? Вы ж в прошлый раз жену эту вдоль и поперек проверяли, да ей два года было от роду в оккупацию! Миллион же неустойки!" А

они в ус не дуют. Так и не поехал. Будем платить, покуда его выпустят. А что он там в Венгрии, побежит служить капиталистам? Человек на фронте три года был, два раза ранен, в партии двадцать лет! Сами себе не доверяют! Ты мне скажи (он обернулся к Вие), ты мне скажи: Петров, который убежал из нашего посольства в Австралии, или тот дипломат, который вместе со своей секретаршей сбежал в Лондоне, что они были непроверенные? Да у них анкеты были, что слеза! А убежали. Кто хочет убежать, тот убежит, как его ни проверяй. Не в этом дело! Я тебе скажу, в чем дело. Сидят тысячи мальчиков, у каждого мундир, кабинет, бесплатное питание и дом отдыха, вот и надо своей конторе работу придумывать. А если это стоит государству миллионы, так плевать, им-то не мокро! Они о своей шкуре думают. Если не будет врагов народа, куда их всех надевать, кагебешников? Работать же придется!

Миша похлопал Ваню по плечу

— Ты что-то распалился не на шутку, паря! В нашем царстве-государстве не один ты переживаешь, а что толку? Кто нас слушает?

— В том-то и дело! — еще пуще разошелся Ваня. — Разве Ленин так думал? Не-ет, задумано было совсем не так! А я член ленинской партии. Я справедливости хочу! Если бы меня завтра выбирали в парламент или там в Верховный совет, я бы сказал на собрании: "Избирайте меня! Потому что я не кричу "Народ! Народ!", я — эгоист! Кто кричит "Народ! Народ!", тот сам себя числит уже не народом, а над ним! А я эгоист, я, по крайней мере, говорю правду: плевать мне на народ! Я хочу в правительство, чтобы принять законы, которые и есть законы для всех, а не для кого-то, чтобы закон не был, как дышло — куда повернул, туда и вышло! И чтобы мои дети и внуки знали: порядок есть порядок, и никто не может завтра отменить одно, а послезавтра ввести другое, что было раньше, и чтобы никто не мог тайно в кабинетах решать за меня и всех нас, а мы чтобы только кричали "Ура!". Изберите меня, и я вам обеспечу самое простое: чтобы соблюдалась конституция — и только!

— Ммм... — улыбнулся Миша. — Скромное желание. Всего и только.

— Законы, между прочим, соблюдаются! — сказала Вия. — В суде действует только закон.

— Как бы не так! У нас один работяга есть, хороший или плохой, не в том дело. Перед законом все одинаковы. Так вот этот Чудейкин сколько лет жил в бараке, потом перебрался к теще в деревянный дом. Под двери дует, вода во дворе, туалет — через улицу. А тут второй ребенок родился. Все болеет от сырости. Чудейкин и встал на очередь на квартиру. Наши как раз дом строили на Берзупес, за Двиной. Ну подходит срок сдачи дома, Чудейкина раз — и из списка. "Тебе, говорят, положено две комнаты, вот есть две в коммунальной квартире со всеми удобствами". А он уперся: "Не хочу. Хватит, мол, коммунальных. Хочу, как все люди, собственную". И — в райком. Он, между прочим, прознался, в чем тут дело: его квартиру, значит, нашему главному химику отвели. На улучшение пошел главный. А его бывшую — Чудейкину. А у химика семья из трех душ: жена, дочь, да он.

Приходит Чудейкин в райком, хлоп на стол заявление: "Это же что получается? У нас какое государство? Рабочих и крестьян! Так почему же вы своим партийным начальникам даете, а мне, рабочему — шиша?!" А секретарь райкома, знаешь, что делает? Ага! Она поднимает трубочку и звонит в милицию: "Придите и заберите тут одного на 15 суток за хулиганство!" И забрали! Все свидетели говорят: не хулиганил! Человек свое требовал! А милиция ему рот заткнула. Для них звонок из райкома — вот те и весь закон!

— На эту анекдот есть! — внезапно прогудел Новиков. — Один колхозник тягался с председателем и потерял работу. Вот он берет и пишет письмо в Кремль "Товарищу Ленину, вечно живому". Через какое-то время вызывают колхозника в райком: "Как же вы, говорят, не знаете, что товарищ Ленин в 1924 году умер?" А колхозник спрашивает: "Товарищ секретарь райкома, это чья машина стоит у крыльца? Ваша. Это кто живет в четырех комнатах с женой и сыном? Вы. Для вас товарищ Ленин вечно живой, как газеты пишут, а для меня так умер?!"

Выложив анекдот, Новиков впустил веки и снова стал, как обычно, вроде спящий — тяжелый и безучастный.

— Почему мы не начинаем? Чего мы ждем? — громко спросила тетя Роза. — Я жрать хочу!

Марик вздрогнул. Вот уже много лет все знали, что Роза Израилевна "выражается", что она в семье народница, кроет и выпивает по-народному, по-простецки и что такова уж ее — аристократическая — манера. Не могла же она вести себя, как все: она, дочь миллионера, учившаяся в Сорбонне и даже сумевшая выйти на год замуж за академика, когда была в эвакуации в Тюмени. Но Марик каждый раз краснел и злился, потому что, если тетя все более "народничала", то он все больше солиднел и теткин выходы резали его по живому. А она, видимо, нарочно устраивала у него на дому балаган и поэтому была для Миши все милее.

— А ведь были времена, когда я любил Марика! — думал Миша. — Он жил у нас, в наших 14 метрах, я выполнял за него контрольные по немецкому языку, он нянчил Тамару... А потом ушел в общежитие ради нас. Отдал сестре свои простыни, чтобы она сделала из них распашонки для Тамары, приходил гулять с девочкой, когда я писал дипломную, а Хана бывала на дежурствах. Он тогда был простой, без барской улыбочки, без этой сытости в мыслях, без мыслей о карьере...

Но сразу за этим Миша подумал, что Марик не случайно так долго ходил холостым, а потом за месяц женился на Беллочке. Видно, была у них общность помыслов и общность идеалов. И стал Марик из хорошего учителя математики рьяным преподавателем марксизма, пошел в партию, пошел в гору...

— Да черт с ним! — сказал себе Миша. — Он свое сделал. У него было плохо с немецким, Хана искала репетитора, нашла меня, так мы и познакомились. Хана продала пальто, единственное свое пальто, чтобы заплатить мне за уроки, деньги ушли в конце концов на свадебные расходы. Так я ни разу в жизни и не получил деньги за частные уроки... У нас с Ханой тоже была общность мыслей. Имея три рубля в кармане после свадьбы, что же мы сделали? Пошли и купили три тома Гофмана: "Сказки кота Мурра", "Крошку Цахеса", а потом не ели горячего два дня, до получки. Мы — бродяги по натуре. Марик — буржуа. Сытый голодного не понимает. Конный пешему не товарищ.

— Так чего мы ждем?! — настаивала Роза.

Дулечка что-то прошептал ей на ухо.

— Подумаешь! — сказала Роза. — Буду я голодать из-за каждой ж... московской! Кто он такой?

Но как раз уже отворилась дверь, и в прихожую вошел великан Гутман и с ним розовый, упитанный и чистенький человек, в английской, песочного цвета шубе из нейлона, в меховой коричневой "лодочке" на голове. Портфель его, тоже желтый и чистый, нес Гутман.

Марька побежал встречать гостя:

— Леонид Мойсеевич! Наконец и вы!

Из кухни примчалась Белла, в переднике и платочке на волосах. И по тому, как она мчалась, как еще, не видя гостя, запричитала: "Какой гость! Какой гость!", Миша понял что человек этот не просто важная персона, но персона для Марика очень полезная. Людей для него бесполезных или полезных мало товарищ Танненбуам не баловал гостеприимством.

Великан Гутман изогнулся, выпростал из портфеля бутылку армянского коньяка высшей марки, вручил Марик. Марик закланялся, прижимая коньяк к сердцу, а потом хотел всунуть его жене, чтобы отнесла на кухню, но:

— А куда это несут армянский? — спросила тетя Роза. — Зачем я буду лакать вино, если в доме есть коньяк?

И Беллочка понесла бутылку к столу.

Гутман цвел сладостной улыбкой. Он ненавидел Марика, потому что был прикован к нему долговой цепью. И еще раз (в который уже раз) подумал Миша, что люди эти ничтожны и несчастны в своем местечковом быту, и что местечковость — это и есть следствие советской бытовой отсталости, где деньги достаются трудно, но еще труднее использовать их без блата, и где степень уважения к человеку измеряется не степенью его знаний или душевных качеств, а степенью его преуспевания в доставании и добывании...

— Слава богу, мы уезжаем! — подумал Миша. — Не может быть, чтоб не уехали. Никто еще не оставался здесь из-за того, что не собрал денег.

И с новой верой, новым взлетом надежды, он оглянул стол и

людей за ним и пожалел их. Он-то хоть уже был за чертой, которую они даже боялись потрогать.

### 30.

Стол был по-русски щедрый, богатый. Тут красовались глубокие салатницы, полные неперменного винегрета — с селедочкой и без — с картошкой, бураками и горошком; стояли миски с мясным салатом, с рубленой печенкой, под "крошкой" из желтков; была заливная щука и бутерброды треугольничками; хлеб с маслом, а сверху — кружочком — килька и пол-яйца. И уж, само собой, как полагается в еврейском доме, стол предлагал фаршированного карпа и рубленную селедку с корицей, с белками и с зеленым луком. А еще — в красивых болгарских "селедочницах" — красовался балык из рыбы-капитана и нарезанная ломтиками подсоленная рыба-хек; деликатесы, добыть которые под силу только Беллочке.

После холодного, на стол принесли жареную утку с "хрустом". Тут Миша понял, где пропадала полдня его жена: Белла умела хорошо готовить, но "хруст" и рубленая селедка давались только Хане.

Миша поглядел в ту сторону стола, где на кухонных табуретках присели Белла и Хана, то и дело срываясь на кухню за новой переменной блюд или салфетками, хлебом и прочим. Бела была красива: крашенная брюнетка, синие глаза, точеные черты лица, но холодна и губы узкие, а пальцы, напротив, с широкими ногтями, неталантливые пальцы. Она была дамой для общества, для фотографий, для легких флиртов. Дама выходного дня.

Его жена не выглядела столь броско, она была просто красива ничем не подкрашенной красотой; каждая часть лица сама по себе "не играла", а вместе они составляли лицо нежное, умное, запоминающееся. И Миша с удивлением подумал, что это очень странно, как он, неприглядный и неостроумный, ничем не выдающийся человек 35 лет, сумел жениться на такой

красивой женщине — стройной и без единого седого волоса даже после всего, что выпало на ее долю, с губами яркими без помады и ресницами длинными от природы. И еще подумал он, что если ее хорошо одевать и дать ей обеспеченную жизнь, чтобы она выглядела, как сейчас: возбужденная хлопотами, разгоряченная рюмкой вина и радостью, мужчины будут долго смотреть ей вслед и удивляться, какой у этой женщины незадачливый муж.

— Ну и едят у нас! — нагнулся к Мише Ваня. — Эх, любят у нас пожрать! Мы, как с Райкой приехали в Египет, она все голодная бегала. Там, если мясом баловаться, без штанов пойдешь...

— Это, наверно, очень интересно все-таки поехать по свету! — сказал Цаль Изидор. — Имена-то какие есть: Киранаика, Тха-Калор...

— Все же решили ехать? — спросил Миша. — А Юрочка как?

— Придется сплавить на деревню, к бабке. У нее свой огород, как-никак прокормит, молока только нет в колхозе, скот весь порезали из-за кормов. Не дают колхознику пастбищ, чем кормить? Мы бабке козу купим, капустой выкормит. Райка ревет, сам думай: ребенку десять месяцев, так и вырастет отца и мать не узнает, а что делать? Развернулись мы по границам. С Алжира вернулся — "Волгу" купил, после Египта — вон квартиру кооперативную; а что в Союзе светит? Ну дадут еще 50 рублей, со всем выйдет 220 в месяц. А я, сам знаешь, что за работа: верхолаз; сегодня на трубе, завтра в могиле... С чем Райку оставлю?

— Интересная страна Египет? — осведомился Изидор Цаль. — Пирамиды, сфинксов видели?

Ваня кивнул: "Этого добра, сколько хочешь. Посадили в автобус, парторг впереди, поехали".

— Каир? Александрию? Можно видеть?

— Кому можно, кому нельзя. Сам знаешь, как у нас, у советских: "Детки, возьмитесь за ручки" и пошли на экскурсию. Шаг влево, шаг вправо — уже предательство. Англичане, немцы, французы, те, куда хотят, туда и едут. Домой к себе приглашают. А наши все табором, под надзором. Посмешище.

— Я слышал, что в Сирии сейчас советские специалисты

живут в коттеджах вместе с сирийцами, чтобы произошла перемена в надзоре; советским разрешается посещать арабов на дому и Дамаск, — сказал Изидор Цаль.

— Не знаю, — Ваня сомневался. — Что-то свежо предание... А мне-то все равно. Я по-английски читаю, малость научился по-арабски, покупаю всякие журналы, телевизор смотрю. Ну его к дьяволу их города: грязища, на базар пойдешь — мясо на брезенте лежит, черное от мух. Райка, как глянула, так и заплакала. А потом ничего, марганцовкой стала отмывать, потом в котел. А вообще мяса почти не ешь, дорого.

— А в гости? К арабам ходили?

— Нет. И не пойду. Знаю я эти штучки. Сегодня мне разрешат к ним в гости, завтра на меня стукнут, что я вел антисоветские разговоры. А хотя, все равно посадят! Только мне бы не сегодня и не завтра Юрке чего-нибудь оставить успеть бы.

— Посадят?

— А ты как думал? — Ваня налил водочки себе и Цалю с Изидором, чокнулся с ними. — Разве в 1932 году мало наших в Америку посылали за опытом? Потом всех расстреляли. В 48-м тоже ездили. И тоже — покапутили их. Ты Солженицына читал? Так-то.

Новиков повернул тяжелую свою голову, потом тяжкий свой язык:

— Ну я не думаю, чтоб они снова начали...

— Не думаешь? — Ваня налил и Новикову. — А ты думай. Шариками шевели. Что этот Синявский или Кузнецов, который по Ленинградскому делу, одни в лагерях сидят? Я человека слышал, он в охране служил в Мордовии. Говорит, еще сейчас живые есть белогвардейцы, сидят до смерти, то есть пожизненно; полные лагеря... Не-ет, братец, мы еще посидим, посидим за все: и за Хрущева, кто при нем выдвинулся, и за Брежнева, за разговоры на кавзенах и за поездочки в Европу. Такая страна. Пойди, "Андрея Рублева" посмотри.

А за столом звенело стекло, звякали ножи и вилки, слипались голоса:

— Еще немного салату?

— Подвиньте, прошу вас, ко мне рыбу!

— Ах, как вкусно!

— Они не могут себе позволить новый 37 год! — настаивал Новиков.

— А почему не могут? — остро спросил Цаль Изидор. — Потому что нам не хочется?

— Общественное мнение мира! — сказал Новиков.

— А Солженицын? А генерал Григоренко? А Сильва Залмансон? А цензура? А хлеб из Канады — это все можно?!

— Конечно, они стали осторожней, они пытаются делать свое дело тоньше, и, конечно, давление на них оказывают тоже компартии Запада в том числе, но если они почувствуют настоящую опасность основе, как было в Каунасе, нет-нет, они не посчитаются ни с каким мнением! — согласился Изидор Цаль.

— Так почему они выпускают евреев?!

И тогда вступила тетя Роза:

— Они отпускают евреев потому, что знают: кто с евреями начал, тот кончает смертью! Римская империя погибла! Австро-Венгрия погибла! Гитлер погиб! И они погибнут!

Изидор Цаль и Цаль Изидор развели руками.

— Бедный русский читатель! — подумал Миша. — У него должно в глазах рябить, ему, должно быть, кажется, что это один и тот же человек выступает на радио, по телевизору, в газетах, то под именем Ц.Изидор, то под именем Изидор Ц. Шутит же судьба! Такие разные люди, такие непохожие, а свело в одну компанию, на одном поприще...

— Нет, в этом что-то есть! — мечтательно протянул Новиков. — Я вот читал Фейхтвангера, римская империя была действительно вроде на все времена, а где она?! Опять-таки Испания, владычица двух Америк; начали инквизицию, сошло с рук, своих били ведь, а как принялись истреблять иудеев, тут и конец. Ээх, хорошо бы поглядеть, как большевики покончат! Господи, хоть стариком увидеть!

— Фигу! — сказал Ваня. — Фигу ты у нас увидишь. Мы без бога жить не умеем. Русские! Я тоже вот читал Анатоля Франса, Тарле. За кордоном все толкуют "Ах таинственная русская душа!", и эта певица, ну, армянка из Парижа?

— Роза Армен? — подсказала Роза.

— Точно. Роза Армен. Тоже поет "Ах славянская душа!", а что они знают? Нет никакой славянской души, есть история, ничего больше. Слава богу, марксизм и я долдонил, знаю: исторический материализм. Так нате вам, сколько лет существует Россия, как государство? Тысячу лет, с 981 года, когда Владимир Русь крестил, а сколько за это время было демократии? Три недели! При Керенском. А кто в России добро сеял? Кто окно в Европу прорубал? Царь Петр. Кто всеобщее начальное образование ввел? Царица Екатерина. Кто крестьян от помещика освободил? Царь! Нет у нас представления о демократии. Вот вам и весь секрет. А когда нам несли свободу на тарелочке — ума не было, чтобы понять, как избежать Демьяновой ухи. Наполеон шел, какие у него идеи были для мужиков? Ноль. Никаких. Керенский с конституционной республикой, что мужику и рабочему предлагал? Туман. А большевики острые: мужику — землю, рабочему — восьмичасовой рабочий день, хижинам — мир, дворцам — войну, народ и клюнул!

— Ты еще добавь, что евреям обещали политическое равенство, гимназии на еврейском языке, сионистское движение, и пошли Рабиновичи и Раппопорты умирать за советскую власть! — вставил Изидор.

— Что ты мне про евреев? — рассердился Ваня. — Тоже вы очень разные. Один жизнь прожил в мозолях, честнее не найдешь, второй того же честного с потрохами сожрет, а себя сионистом считает! Покуда не надо денег дать для уезжающих в Израиль. Я Марьку уважаю: головастый мужик, где что достать или смастерить — гигант! И руками может, и головой. Печку как продал, а? А ты на его машину погляди — зеркальце итальянское, тормоза гэдэеровской жидкостью залиты, подголовники американские, а много он рублей Мише отвалил?

Цаль Изидор запротестовал:

— Марик и так подвергается риску, его сестра подала документы на отъезд в Израиль, а он преподает марксистскую философию!

— Душно здесь, нехорошо! — думал Миша.

Бесконечные вариации все тех же разговоров, нескончаемое "самокопание" в том, почему и отчего великая страна живет с

мозгами набекрень, создав единственный за всю историю человечества пример истинно полицейского государства, которое при всем этом базируется идеологически на самом революционном, в лучшем смысле слова, учении о равенстве и социальной справедливости мучительно надоели ему.

— Хватит с меня, довольно, какое мне дело отчего и почему этой страной правят то цари-самодуры, то оплывшие жиром бездари? Не все ли мне равно, что будет с ней? Я — гражданин Израиля, поскольку выразил желание стать им, на худой конец, я — гражданин Латвии, которому насильно вручили советский паспорт, оккупировав страну в 1940 году. Я устал произносить обвинительный приговор, который некому изложить, жгучие слова обиды, горечи, справедливого возмущения, слова, которые надо бы на суде класть одно за другим чугунным весом на чашу весов. Но слова эти падают в мою же душу, я уже гнусь под их тяжестью, она не позволяет мне ходить расправленно, угнетает, прижимает к земле, как червяка... Хватит, надо уйти от них, уехать, это решено, зачем же я стану еще и еще истязаться?!

Он поднялся из-за стола и вышел в детскую.

Здесь за круглым столом, покрытым бумажной белой скатертью, на табуретках и кушетке разместилась компания, занятая поеданием пирожных, которые неосмотрительно внесли в комнату, надеясь, что дети примутся за сладкое после холодного и мясного. Но утка и винегреты нетронутыми лежали на тарелках. Рты были измазаны шоколадным кремом. Миша обвел детвору взглядом.

На кушетке сидели рядышком Марькины близнецы: оба пухлые, курчавые и курносые, ученики третьего класса, причем круглые отличники. С ними на кушетке была Нинон — дочь Ефима Петровича, долговязая девица 15 лет, с веснушками и какими-то больными, голубого цвета, зубами, тоже отличница. Тамара сидела о бок с Додиком, мальчик был копией отца — Арнольда Викторовича, но копия превосходила оригинал.

— А в Шереметьево, — говорил Додик, — в Шереметьево они взломали у Фаины Фроловны губную помаду, выжали из тюбиков зубную пасту; им казалось, что она везет в Израиль советское золото или бриллианты.

— В Чопе еще хуже! — сообщила Нинон. — Наши соседи ехали, так у них сперва перерыли все в чемоданах, так что потом все пришлось скомкать, чтобы успеть к отходу поезда, а потом сломали Нелькину куклу, тоже искали драгоценности!

— Они совсем не стыдятся никого! — подтвердил Додик. — Когда дядя Арон провожал свою сестру, в Бресте на станции была делегация австрийских коммунистов, они все видели, а таможенники выбрасывали из еврейских чемоданов колбасу, булки!

Близнецы слушали со сверкающими глазами. Они знали, что их папа не может уехать, а мама не позволяла им прощаться с товарищами, которые уезжали в Израиль. Для близнецов, все, связанное с отъездом, с Израилем, было запретным и манящим вдвое.

— В Израиле, говорят, дети не учат ничего, только святыя книги! — робко сказал старший близнец — Симочка.

— Так и есть! Ничего не учат. А потом сразу садятся и делают лучшие в мире электронные приборы! — улыбнулся Додик.

— Там страшно! — вздохнул младший близнец — Жоржик. — Зачем Даян мучает арабов?

— А ты там был? Ты видел? — напала на него Нинон.

Жоржик рассердился:

— Ты тоже не была! И вообще вы никуда не едете!

— Папа с мамой пускай не едут, а я вырасту, выйду замуж за еврея и мы уедем! Правда, дядя Миша, что еще будут выпускать?

— Думаю, что будут.

— А я не уверен! — сказал Додик. — Никто не знает, почему они стали выпускать, разве Косыгин или Брежнев давали слово выпускать?! Сегодня выпускают, завтра закроют двери.

— Все равно я уеду! Все равно уеду! — Нинон почти плакала.

— Все уезжают! — печально сообщил Симочка. — Боря уехал, Таня, Изя Вайнер, никого в классе не осталось, только мы.

— Вы тоже уедете! — пообещал Додик. — Кто добивается, все уезжают. Дядя Арон добивался с 1945 года, двадцать пять лет добивался!

— Ой, к тому времени мы уже будем старыми! — испугался

Жоржик. — Папа говорит, что в Израиле все мужчины в армии и девочки тоже, а нас не возьмут!

Миша покачал головой и оставил детей одних. То были дети семидесятых годов, просвещенные еврейские дети. Он мог лишь помешать им.

Он вышел на кухню, налил стакан холодной воды, выпил. На кухне была только Белла: нарезала лимон.

— Что с тобой, Миша?

— Пить хочется.

— Сходи, проверься на сахар. Мой папа тоже начал много пить и оказалось — сахар.

— Может быть. Что в школе нового?

— Все то же. Дети не учатся, завуч ругается, директор произносит речи. Как у вас с деньгами? Ты ходил к доктору?

— К Вольфу? Он требует гарантий.

— Ты не должен сердиться на нас. Вы все уезжаете, нам надо жить здесь. Все деньги уходят на дачу и машину. Ты не представляешь, как дорого содержать машину и дом!

— Ладно. Вы нам ничем не обязаны.

— Может быть, нам надо было что-нибудь продать, чтобы вас выпроводить, но Марик потеряет работу, если узнают, что мы вам помогали.

— Я сказал: ладно. Вы нам ничего не должны. Закончим на этом.

Белла заплакала:

— Все так запуталось! Запуталось! Жили, встречались, были семьи, друзья, все одинаково страдали. И вдруг Анечки нет. Мони нет, теперь и вы... Нам хуже, чем другим, мы даже писем не можем получать!

Миша кивнул. Конечно, преподаватель марксизма не мог получать письма из Израиля... КГБ немедля сообщит в институт, институт соберет партийное собрание: прощай карьера, прощай обеспеченная жизнь!

Разумеется, Марик мог, то есть был волен, отказаться от благ и потребовать характеристику на выезд. Его вышвырнули бы из института, из партии. Могли не выпускать год—два. Пришлось бы мыкаться, страдать, потому что и учителем не дадут работать; только на заводе или в огородничестве, но в

конце концов он попадет на волю — в Израиль, или США... (Кто его знает, захочет ли Марик жить в стране, воюющей, без перспективы мира?) Но просить характеристику — значит рисковать, значит сразу, как ножом, отрезать все привычное: благополучие, сытость, положение в обществе... Он мог испробовать и другой путь: уволиться из института, скажем, по причине "головных болей", не позволяющих преподавать. Устроиться на работу в школу (с детьми меньше нагрузки нервам) или уйти на завод, в бюро переводов, или учиться слесарному делу, портняжному, любому... Потом, года через два, попроситься в Израиль. Могут выпустить. Но и этот путь означал для Марика и его жены перемену положения: беготню по советским бюрократам, трудное житье... А Миша далеко не был уверен, что шурина и его лучшая половина хотят в Израиль, в принципе. Они, конечно, как вся современная советская интеллигенция, ворчали, издевались над Брежневым и его присными, в точности, как во время оно немецкая интеллигенция издевалась над Гитлером и его выскочками, над их немецким языком, жестами и мимикой, а потом те же профессора и инженеры бежали выполнять приказы осмеянных выскочек, низко выгибая спину. Они были готовы аплодировать любому, кто свернет шею нацистам, сами же ничего предпринимать для этого не хотели; они шипели и страдали и ждали избавления, как ждут компота на подносе, в чашечке с золотой каемочкой.

А прочем, что светило Марику и Белле в Израиле или США? В Советском Союзе они зарабатывали болтовней: цитировали Маркса и Ломоносова, священнодействуя, благословляли мудрость Ленина и разбирали по шурупчику библии советской литературы: "Поднятую целину" и "Молодую гвардию" — с точки зрения классовости, идеологичности, историчности и т. п. В любой стране свободного предпринимательства и свободной науки, им пришлось бы переучиваться, а потом жестоко, до пота, работать...

Нет, Миша не жалел ни Марика, ни Беллу. Ему было жалко Хану, потому что для нее не видеть "братика" было-таки горем, но Миша ни в грош не ставил любовь Марика к сестре.

— Не расстраивайся! — сказал Миша Белле. — Еще не

известно, как бы вам пришлось за рубежом. Оставайтесь и не терзайтесь совестью. Кто едет, знает, на что идет. Вы тут ни при чем.

Он вернулся в столовую в тот момент, когда московский гость стоял с пустым бокалом в руке, над опорожненной тарелкой, и говорил:

— Это какое-то сплошное сумасшествие! Массовое заболевание толпы! Мы слышали кое-что, но я не представлял себе, что это может вылиться в такую, прямо скажу, панику. Куда вы несетесь? Отчего?! Почему эта ненормальная, звериная какая-то стихия — убежать из Советского Союза?!

— А почему у вас такая ненормальная, прямо скажу, звериная ненависть к евреям?! — спросила тетя Роза.

Дулечка забил в ладоши. Леонид Мойсеевич побагровел:

— Ложь! Неправда! Я — еврей, а занимаю пост директора крупнейшего учреждения!

— И дрожите, чтобы вас не выбросили, потому что мы едем, и советские руководители могут подумать, что и вы такой?

— Да! Да! — почти уж взвизгнул Леонид Мойсеевич. — Это моя страна, моя родина, я проливал за нее кровь, я голодал в Ленинграде, у меня тут вся жизнь прошла! Я не желаю, чтобы правительство было вынуждено пересмотреть свое доверие ко всем евреям из-за нескольких сотен сионистов или сумасшедших!

— Скажите об этом вашему правительству! — предложил Цаль Изидор.

Изидор Цаль поднял руку с воздетым указательным пальцем, призывая публику запастись терпением и дать оратору продолжить:

— Объективно, советская власть не была никогда доверительно настроена к евреям. Ни до массовых подач заявлений о выезде, ни сейчас. Отдельные евреи пробивались, очевидно, в силу закона больших чисел: как-никак нас в СССР 3 миллиона и все — или почти все — настойчиво добивались высшего образования. Но скажите мне, сколько евреев, в процентном отношении к русским или украинцам, состояли в членах ЦК, в министрах, дипломатах? В Советской армии служат единовременно не меньше 30 000 евреев, я беру минимальные цифры

мирного времени — 1 процент от числа населения, но сколько у нас в стране евреев генералов? Полковников? Майоров? Я не встречал ни одного еврея — летчика, ни одного еврея — капитана военного корабля.

— Евреи устремлялись в учебные учреждения! — сказал Марик. — В Риге каждый третий врач — еврей. Каждый пятый — учитель.

— Не спорьте с ними, Марк Наумович! Глухие не способны слушать. Я только удивляюсь, как же вы, которые, вне сомнения, служите в советских учреждениях, работаете в советских школах, как вы можете так говорить?

— Слышали! — рассмеялся Дулечка. — "А сало русское едят"! Басня Сергея Михалкова. Сердитая басня о том, как мышка ела русское сало, а хвалила заграничный хлеб. А вы давали нам есть заграничный хлеб? Если бы тут была Америка или хотя бы Англия, я первый плюнул бы в глаза тому, что служит государству, пишет в его газетах хвалебные статьи, учит детей, что это государство — рай, а сам на деле думает совсем другое. Но большевики создали царство всеобщей лжи; они же сами хотят, чтобы их обманывали! Я вам завтра напишу поэму со слезой, прославляющую Брежнева, Косыгина или какого-нибудь Кастро, и потащу её в редакцию, а потом сяду в кругу друзей и выпью за гибель коммунизма и мне не будет вот столько стыдно! В стране всеобщей лжи стыда не имеют!

Поднялся Новиков и мрачным голосом заявил:

— Встает утром Никсон и спрашивает у Киссинджера: "Сколько тратит Косыгин, чтобы содержать полмиллиона доносчиков?" Киссинджер говорит: "100 миллионов рублей". Никсон потирает руки: "Я трачу на то же ровно доллар. Столько стоят газеты, которые я покупаю каждый день за углом в киоске. Косыгин тратит миллион рублей в день, чтобы ему рассказали правду о том, что думает народ, а я за доллар знаю все, что думают обо мне американцы".

— Это все Запад! Это Би-би-си и "Голос Америки!" — кричал Леонид Мойсеевич. — Империалистам надо расколоть СССР по национальному вопросу! Они на это тратят миллиарды!

— А вы тратите весь сибирский лес на бумагу, чтобы в

каждом паспорте писать "национальность"! — закричала Роза Израилевна. — Я прихожу в библиотеку, меня спрашивают: национальность? Еду в дом отдыха: национальность? Моя печейка устроена иначе, чем у русских?

— Один американец приехал в Москву и спрашивает у Елютина: "Сколько у вас евреев в Московском университете?" Тот говорит: "6,7%". Американец спрашивает: "А сколько татар у вас в сельхозакадемии?" Елютин говорит: "7,25%". И сам спрашивает: "А сколько у вас в Колумбийском университете итальянцев?" Американец покачал головой: "Не знаю. Мы не ведем учет по национальностям!" — сказал Дулечка.

— Единственная в мире страна, где 55 лет все спрашивают: "Национальность?" — кричала Роза. — В проклятой буржуазной Латвии, где было так плохо, в паспорте записывали вероисповедание. Вы могли написать "католик" или "атеист", никто не проверял. В Америке, во Франции, в Англии нигде не спрашивают национальность граждан, а вы мне говорите: Би-би-си!

— Я ничего не говорю! Я руководствуюсь такими информированными источниками, как "Нью-Йорк геральд трибюн" или "Вашингтон пост"! — взвился Леонид Мойсеевич. — По их сообщениям, в Израиле самый высокий в мире подоходный налог, рекордные расходы на душу населения на военные нужды, там дня не проходит без инцидентов, каждый день израильские газеты пишут о стычках между сефардами и ашкеназами, о забастовках и повышении цен! Лира за последние полгода падала два раза!

Кризис с квартирами, кри...

— Затормозите! — Миша поднялся и поднял палец. — Я вас понял. Только ненормальные могут покидать благословенный Советский Союз с его ленинской дружбой народов, с традиционным стремлением к миру во всем мире и тэде и тэпе. Я — ненормальный! Я хочу в Израиль, хотя заранее знаю, что моя профессия там не годится, что мне придется переучиваться, а я не могу похвастать здоровьем; знаю, что, может быть, придется год и два мириться с плохими жилищными условиями, что там жарко; пески, цены, обстановка — все непривычное. Но когда я представляю себе жизнь без этого извечного вопроса "национальность?" без этого извечного сознания, что любой

обнаглевший ариец из партийных или непартийных может тебе сказать: "Потише, ты-то что шумишь? Езжай в свой Израиль, там наводи порядок!" — как подумаю, что есть такое место в мире, где я хороший или плохой, богатый или бедный, но я — дома, так я хочу в Израиль! И еще я скажу вам: я вступил в комсомол, когда за это давали десять лет каторги, я боролся за построение социализма в СССР и воевал на фронте. Хватит, остаток сил я хочу отдать устройству жизни в стране, куда в конце концов ведут все еврейские дороги. Народ без земли — это листья на ветру; если бы существовало еврейское государство до 1933 года, Гитлер не истребил бы 6 миллионов евреев, а я не хочу, чтоб эту работу довершил кто-то другой!

Я хочу в Израиль: потому, что даже с вашей, маркистской точки зрения, это государство следует охранять, как уникальный памятник истории человечества. До сих пор ни один народ, лишенный родины и государства, не смог сохраниться и восстановить национальную жизнь. Исчезли Вавилон, Ассирия, Эллада, древний Рим, разоривший Иерусалим и отправивший наших предков в рассеяние — на рабство и позор. Нет и в помине никаких Эдомов, Моавов, филистимлян и царства Савского, а мы живем и будем жить. Единственный народ на всей Земле, сумевший сохранить свою религию, философию и язык в течение двух с половиной тысячелетий в отрыве от родной земли, имеет, по-моему, право, чтобы его признали исконным хозяином своего государства. Если бы история повернулась иным боком, и товарищ Микунис заполучил бы власть в Израиле в 1949 году, вы нашли бы молитвенные слова, как в передовицах "Правды", чтобы воздать хвалу и славу еврейскому народу, единственному, построившему на Ближнем Востоке, да и во всем Магрибе, социалистическую, профсоюзную экономику и парламентское правление, живя при том в кольце врагов, отравленных расовым фанатизмом. Но история сыграла с вами злую шутку, бросив в компанию тех, кто является врагом социализма и просвещения, и превратив во врагов страны, которой вы должны были бы быть близки по духу, как марксисты. Какой позор! Страна под красным флагом сдирает штаны с собственных рабочих и крестьян, чтобы вооружать взбесившихся феодалов, диктато-

ров, вроде Кадафи и Асада, которые держат на ночном столике сочинения Гитлера и убивают коммунистов.

Я не хочу иметь ничего общего с вашей страной, с вашими лозунгами, вашими вождями и спившимся народом. Я должен быть с моим народом, особенно сейчас, когда вы, отцы духовные антисемитизма, готовите арабов к новому походу против Израиля, чтобы поквитаться с ним за позор, постигший вас в 1967 году!

— С фашистами и феодалами! — сказала тетя Роза. — Да они свяжутся с самим дьяволом, лишь бы удержаться у Суэцкого канала! Если на Ближнем Востоке наступит мир, арабы вышвырнут большевиков к чертовой матери! Правильно, Мишенька, нечего нам тут делать. Надо ехать!

— Черта я им поеду! — сказал Дулечка. — Я останусь здесь. Пусть они уезжают — все члены ЦК во главе с политбюро. 30 лет из меня качали соки, каждый кусок хлеба у меня ломили пополам, нет уж, я советский демократ, я дождусь светлого часа здесь!

А тетя Роза плакала:

— Загубили мою жизнь! Лучшие годы!.. Куда я старая, больная буду ехать? Умирать в Израиле? Просить пенсию у государства, для которого не сделала ничего? Дулечка прав, я тоже остаюсь: есть их хлеб; прожирать пенсию, которую они мне дали, и я уж постараюсь жрать ее долго, чтобы у них глаза на лоб полезли, но господи, рабойне шел ойлам! Разве это жизнь в тюрьме народов?! Кто-то ходит по улицам с Маген-Давидом на цепочке, молится у Стены плача, а мы тут заживо умираем...

— Но почему? Почему? — растерянно обводил взглядом соседей Леонид Мойсеевич. — Почему похоронены? Почему тюрьма? Разве каждый француз может поехать в Америку? Миллионы людей на Западе в жизни не могут набрать денег для поездки в собственную столицу!

— Вы, что, серьезно? — спросила тетя Роза. — У вас совсем в голове непорядок? Как говорил мой отец, благословенна его память, аз а ид верд мешуге из эс аф ланг! Когда еврей чокнутый, так это надолго. Во Франции есть цензура? В Америке глушат иностранные радиостанции?! Англичане видят

одно, а им говорят другое? Из какой страны нельзя уехать без разрешения тайной полиции? Или вы один из тех, кто сам ездит, куда хочет, на деньги КГБ и рассказывает, как хорошо евреям и русским лизать ж... Брежнева?!

— Марк Наумович, оградите меня, прошу! — пошел пятнами гость.

— Можешь не трудиться, я и сама уйду! — Роза встала, отодвинула от себя стул. — Давно собиралась плюнуть вам в ваши продажные глаза, но покойную Сарочку было жалко, так она меня просила, так просила "Будь Белке вместо меня", а я не хочу! Смотреть на вас противно: полезли в партию, которая убивает из-за угла ваш собственный народ, повесили в комнате у детей портрет Брежнева, а он целовался с Арафатом. Вот Миша уезжает. Сколько лет кормил тебя, подонка, барина коммунистического, сколько раз штаны на тебе дырявые Хана зашивала? А что ты им дал на отъезд? Ты себе купил три тысячи штук красного кирпича, так пусть каждый кирпич упадет на твою жирную голову, будьте вы прокляты, антисемиты еврейского происхождения!

Она плакала, навзрыд, не боясь и не стесняясь, руки ее не попадали в рукава жакетки.

Миша помог ей, сказал:

— Я пойду с вами, Роза. Провожу домой. Душно мне, воздуха хочу.

— Погодите, я тоже. — Хана вышла в прихожую, позвала оттуда дочь:

— Томочка, мы уходим!

Марик нервно теребил ломоть хлеба, смотрел в тарелку. Дулечка переживал. Уходили сигареты и трещины, уходила перспектива долгов, которые можно было не отдавать годами, но пойти с Розой значило потерять место в доме, который собирался процветать и продолжать устраивать компании, где так вкусно кормят.

— А который же это час? — поинтересовался Изидор Цаль, подтверждая свою репутацию человека, неприспособленного скрывать мысли. — Ой-ой, поздно! — и тоже двинулся одеваться.

Жена его, учительница музыки, всюду, как путник за

фонарем в ночи, следовавшая за мужем, безмолвно пошла к вешалке.

Ваня крутил широкой шеей, мотал головой:

— Да вы что, вот еще по политическим причинам такой скандал в семье! Да не стоят все эти сволочи наверху, все вместе одного хорошего стакана квасу!

— Какой позор! — шипела Люда Брониславовна, жена Арнольда Викторовича, дама потная, с красными, раздраженными щеками и раздутой амбицией. — Пожилая женщина, а такие выражения!

Само собою, Люда Брониславовна не могла больше оставаться в доме, в который приглашали такую "женщину". Люда Брониславовна тоже пошла одеваться. Мужа она не звала за собой, сейчас ей было выгодно уйти самой, а его оставить: Марик был человеком с большими материальными возможностями, не стоило рвать с ним на самом деле, но не показать свое тонкое нутро тоже нельзя было. Сына она вообще не трогала. Мальчик был уже давно на другой стороне, и если отца еще жалел, понимая, какой это слабовольный человек, то мать он едва выносил, особенно в моменты, когда она "работала на публику".

Цаль Изидор нашел нужным предложить себя в провожающие Людмиле Брониславовне. Собственно говоря, он шел домой, а они жили в соседних блоках.

Арнольд ерзал на стуле, но взгляд жены приковал его к месту, и бедный ученый муж невнятно бормотал:

— Ничего, Марк Наумович, ничего, мука́ будет... перемелется...

И тогда, неожиданно для всех, наверно, и для самого себя, Марик встал и сказал:

— Подождите. Я тоже выйду.

И заплакал.

Он стоял и плакал, маленький, курчавый, в новом с иголки костюме, подающий надежды советский карьерист, который в последний раз видел свою сестру и шурина, несчастный в своей продажности и в своей нерасторжимой кабальной зависимости от власти, которой продался за Йудины гроши...

Белка заломила руки:

— Что вы делаете?! Он же именинник!

В эту минуту открылась дверь и показался товарищ Пайль. Был он с трубкой и с выпяченной губой, в профиль — почти что Эренбург, анфас — потрепанный Альфонс; не то юрисконсульт, не то референт в какой-то рыбной организации. Главной специальностью его, однако, были лекции в том Доме Знаний, с которого спилили золотые кресты по приказу Фурцевой и превратили "Собор на Александровской" в "цитадель науки". В дождливый осенний день на крышу обреченного собора поднялись резчики, светили прожектора, милиционеры уговаривали толпу: "Расходитесь, граждане, ну чего вы? Не видели, как кресты снимают?" А наутро, вместо золотых православных крестов только инвалидные обрубки торчали к небу, и пошло стучать в соборе, и пилить, и что-то склепывать — три года, пока устроили в нем планетарий с машиной из ГДР, лекционный зал и кафе, прозванное остряками "Кельей у Ног Христа"...

Пайль читал в том Храме Знаний лекции "Реваншизм в ФРГ", "Коричневая паутина на Рейне" и т. п., так как знал немецкий язык и читал ульбрихтовскую прессу, откуда и черпал сведения о Германий.

Но и это было не самым главным его делом. Самым главным делом Леонида Пайля были лекции об Израиле и сионизме; "Сионизм — будущее в тумане", "Фашизм под шестиконечной звездой" и "Страна без морали", и это он, Пайль, без подсказки свыше пустил в оборот сочетание "Международный гангстеризм сионистов". Поражало в нем не то, что он — еврей, к тому же пострадавший от сталинщины (был разжалован в отставку из Германии, где служил штабным офицером), читает лекции, позорящие еврейский народ. В СССР это — дело обычное, причем сколько их, лекторов, которые с трибуны говорят одно, в узком кругу — другое?

Поражало, что Вайля никто не обязывал клеймить сионизм, что был он нештатным лектором Дома Знаний, что писал на афишах о себе "Член союза журналистов", а писать в газеты не умел: статьи настолько отдавали прошлым, уже неудобным для теперешних руководителей, что его не печатал даже Салеев!

Так вот, показался Пайль, и все разговоры умолкли, пошли обычные, как бывает при "театральных разъездах", пожелания здоровья, обещания "обязательно позвонить" и т. п.

— Извините, что я опоздал, — сказал Пайль. — Было совещание на работе, но я искуплю вину, налейте мне штрафного, я, собственно говоря, только на полчасика, уже поздно, но считал невозможным не поздравить.

И он вручил Марику подарок — книгу, завернутую в золотой лист.

Марька взял книгу и пригласил Вайля к столу, чтоб выпить за здоровье именинника.

### 31.

На кухне горела грижаневская лампочка — 15 ватт в эмалированном абажуре, прицепленном косо в углу, чтоб свет падал только на грижаневскую плиту, не проливая, упаси боже, каплю на соседскую. Под лампочкой, на подставке для ног, сидел Стасик, читал книгу.

Тамара спала, Хана засыпала, можно было задержаться на кухне, оттянуть час, когда придется лечь в постель, в которой нельзя повернуться, а сердце явно собиралось разыграть приступ: Миша уже различал признаки.

Он выпил кардиовалена, присел на табуретку возле своего стола, подпер руками голову. Стасик внимательно поглядел на Мишу, спросил с любопытством.

— Что невесел? Пил, ел, а что-то кислый?

— Разругались.

— Ну?

— На политической почве. Братец гостя пригласил, какого-то московского, не то директор чего-то, не то ученый; начали об Израиле, дальше все ясно.

— Московский — еврей?

— Еврей.

— Понятно. Раскол. Три миллиона, как ни верти, уехать не могут, а хочется.

— Многим и не хочется. Я тебе скажу: люди жили в стране не то что годами, отцы отцов похоронены в Могилеве, или,

скажем, в Риге. Люди привыкли думать по-русски, жить по-русски. Многие евреи только по паспорту знают, что они евреи.

— Плюс капитализм там, социализм тут... — сказал Стасик. — Это действует.

— Единственная страна в мире, где сами так запутали простое дело! Я тебе ручаюсь, если бы можно было поехать туда и вернуться, половина тех, кто уехал, не уехали бы навсегда!

— Запутали! А как не запутать? Если сегодня разрешить каждому, кто хочет, ездить за рубеж, смотреть и возвращаться, конец будет режиму! Самые опасные те, кто вернется. За границей — выборность, жизненный уровень другой, техника. Начнут спрашивать: почему у нас одна партия? Почему нет беспартийной прессы? Почему нельзя бастовать? Возьми у меня на работе: по технике безопасности категорически запрещено за рулем сидеть больше 8 часов. А мы шпарим по 16 и больше. Нету шоферов, а план надо давать. А потом аварии. Слышал, как панелевоз на автобус возле Огре налетел? 27 человек с "ВЕФа", а сгорели на месте... А почему? Шофер спал. Положено ездить в дальние рейсы вдвоем, а он один... А попробуй не повези! Или устрой забастовку...

— Хорошая книга? — спросил Миша.

— Погляди.

Стасик подошел к Мише, показал книгу: "Осторожно, сионизм!"

— Ммм.

— Ничего, местами даже жутко! Такие страсти-мордасти, ужас! Весь мир опутали, евреи. Шесть тысяч газет имеют под своим контролем, Рокфеллер, Морган, Ротшильд — евреи; Киссинджер, Теллер, Оппенгеймер — тоже. Прямо хочется стать евреем!

— Знаешь анекдот о негре, который читал в Москве перед Большим театром еврейскую газету?

— А к нему подходит милиционер и говорит: "Вам мало, что вы негр?" Старо! Есть поновее. "Лучше быть евреем, чем Аджубеем".

— Тоже не ново. Я уже такое слышал: Брежнев говорит

Косыгину: "Слушай, Алексей, а ведь если мы завтра откроем границу, то останемся мы тут с тобой на всю страну вдвоем". А Косыгин отвечает: "Нет, Леша, если откроем границы, останешься ты один!"...

Стасик покрутил головой:

— Косыгину тоже несладко! Знаешь, как в ЦК из-за частной инициативы схватились? Экономисты говорят: надо разрешить частную инициативу в бытовом обслуживании, а партийные аппаратчики давай кричать: "Реставрация капитализма!"

— А ты бы пошел в частный сектор?

— А что? Открыть бы механическую мастерскую на шоссе, службу автомобилей. Жить можно! Деньги нашел?

— Ты ж не даешь?

— Не могу. В октябре квартиру меняю. На работе обещали 4 комнаты, обставлять надо. А у нас с Варькой всего 560 рэ.

— С Гаврюхой будешь жить?

— А куда мне деваться? Нам, если с Варькой для себя квартиру ждать, еще пять лет гнить здесь.

— Странно, что Лена согласилась потерять ордер. Здесь она хозяйка, а там — уже ты.

— Согласилась... Я тебе по секрету открою, но только тсс! Я еще в прошлом году мог получить 4 комнаты. Нашей конторе горисполком каждый год две—три квартиры дает, в прошлом году выделили две по три комнаты и одну — четыре. А на четырехкомнатную, сам знаешь, кандидатов мало. Контора эту квартиру брать не хотела, просили разменять на две по две комнаты, а горисполкому без нужды такой обмен: две двухкомнатные это — две кухни, две ванны, два балкона. На треть строительство дороже. Еле нашли одну семью — семь человек, чтобы квартира не пропала. У них домик был в Пурвциемсе, наши его откупили, будут строить гараж. Свободно дали бы мне эти четыре комнаты, но мои начали: "На биса нам чотыри? У цих нових квартирах нет проходной, куда пять шкафов поставимо? Подвала нет, а куда уголь?" Я говорю: "На черта уголь, там же ТЭЦ"; нет, боятся, сегодня ТЭЦ, а завтра капец, а ну, как что-нибудь испортится? Но в этом году, как узнали, что вы уезжаете, сами начали меня толкать: "Пойди, поговори с

начальством". Боятся, что на ваше место поселят какого-нибудь пьяницу.

— Цыгана им надо с гитарой! — сказал Миша. А то евреи им весь свет застили.

Стасик покачал головой:

— Хохла им надо! Такого же, как сами, чтоб вместо ночной посуды ставил под кровать армейский котелок с войны, как у Гаврила. Не люблю их. Варька совсем не такая.

— Жаль, что у вас денег нет. Вам бы пригодились получать от меня посылки.

— А вы когда едете?

Миша развел руками:

— Помнишь "Интернационал"? Ни бог, ни царь и ни герой — никто не знает.

— Из-за дипломов?

— Из-за дипломов, из-за таможни, из-за КГБ. В Минске был артист, уплатил за высшее образование, уложил вещи, сел на поезд, а его в Бресте с поезда сняли по обвинению в антисоветской деятельности. Другого арестовали час после того, как он получил визы в ОВИРе: сионист. В нашей прекрасной стране говори "гоп", когда минуешь станцию Чоп. В ОВИРе дают подписать документ, что советское гражданство сохраняется за тобой до "момента пересечения границы", чтоб знал — пока не выехал, сошлют и упекут, а ты даже не пикнешь.

— Может правильно? А то что будет: получил человек визу, пошел убил кого-нибудь или аферу прокрутил, а судить нельзя — иностранец.

— Судят и иностранцев. А, во-вторых, вся Европа пересекает границы соседей без паспортов вообще, что же там, так и шныряют убийцы и воры? И потом, ты евреев с малых лет знаешь, жил в доме, где полно евреев, с нами уже пять лет в одной квартире; разные есть евреи, но таких идиотов, чтобы с визой в кармане подставлять себя под суд, таких не найдешь. Тут и так хватает всякого, пока визу получишь.

— Я, между прочим, Кузнецова немного знал, которого судили за угон самолета. Дикая совсем история. Угнать самолет из СССР?! Я все думаю, за что их могли судить? За подготовку к угону? А как доказать, что это подготовка? Я

завтра начну собирать рюкзак, намалюю таблички "Осторожно, мины!", что же мне уже можно приписать угон самолетов?! Я своего дядьку спросил, который судья, дядька сказал, что судить можно за совершенное преступление, за мысли совершить преступление судить нельзя.

— Дядя знал, что ты о деле Кузнецова спрашиваешь?

— Что ты! Он у нас идейный. Переживать будет за советскую власть, плакать за нее, краснеть, но чтобы он ее вслух осудил?! Никогда. Я спрашивал вообще, в принципе.

— В принципе на рижской таможне висит список вещей, которые можно вывозить за границу, если едешь на постоянное жительство. Инструкция говорит, что можно вывозить по 400 граммов серебра на взрослого, по два ковровых изделия. А на Югле, где досматривают евреев, из ящиков выкидывают ковры, они дороже, чем 250 рублей. Евреям дают вывезти только по 200 граммов серебра, а что такое 200 граммов? Четыре чайных ложечки. Закон гласит, что если муж, скажем, остается в СССР, а жена решила уехать на постоянное жительство в капиталистическую страну, с нее достаточно, если она предъявит в ОВИР заверенное нотариусом разрешение мужа. Для евреев закон не действует. У евреев требуют развода.

— Все равно едут! — сказал Стасик. — У меня лучшие кореша евреи были: Сашка Гальперин, Миша Киршбаум, Алик Розовой. У Альки я дочку из роддома получал, он на Дальнем Востоке служил, не мог прилететь, Соня меня попросила: "Получи ты, Сарочку, вместо Альки". На свадьбах друг у друга танцевали, все праздники — в одной компании, и нет никого. Как будто переселились в другой мир. Я тебя спрашиваю: не может же быть, чтобы у нас никогда не сделали нормальные порядки с выездом? Я все жду, а вдруг начнут разрешать путешествия?

— Я тоже ждал, с 1945.

— Нет, вы свое сделали! Только подумай, страна ни с чем и ни с кем не считалась. Задумали войну начать из-за Выборга, начали. Им, видишь, не нравилось, что граница от Ленинграда в 30 километрах, из-за этого можно войну начать с Финляндией. Задумали с танками в Латвию и Литву явиться, и явились. Захотели Чехословакию занять, раз-два и заняли. Что там ООН,

что там Европа, им чихать. Сколько было шума из-за 12 миль морской границы! А чем закончилось? Москва сделала, как хотела. А на евреях осеклась. Сперва пресс-конференции: Райкин, Плисецкая, генерал этот?

— Драгунский.

— Точно. Кричали, клялись: "Евреям не нужен Израиль, не поедем!", а через год пол-Риги опустело. Одних моих знакомых человек 50 уехало. В "Неделе" писали, за два года из СССР в Израиль уехали 20 000 человек. А я думаю, в три раза больше? Вот тебе и железный занавес. Смешно. Я одного типа знаю, сколько лет вопил у нас на работе: "Жидаы — трусы! В войну Ташкент оккупировали!", а теперь ходит латышей кроет по чем зря. Жидаы арабам морды набили, а евреев в Израиле — 2 миллиона, а нас, латышей, здесь два с половиной миллиона и не можем русских прогнать! Нет, прорубили вы ворота!

— Это не ворота, — Миша покачал головой. — Это — электрическая калитка Кауфбайринга. В концлагере Кауфбайринг была калитка, через которую ходили на работу. Около калитки сидел эсэсовец. Откроет выход, пропускает колонну. Кто проскочил, на сегодня жив остался. Пять человек пропустит, десять, а на одиннадцатом ударит калиткой по человеку — насмерть. И никто не знал, какого он ударит: одиннадцатого, или пятого, или двадцать пятого. Такая была игра без правил. Здесь то же. Десять семей выпускают, одиннадцать, а на двенадцатой калитка захлопывается, и сидят люди без работы, без защиты законов и не знают, сколько им так сидеть. А ведь скольких людей не просто отослали из ОВИРа — "Вам отказано", да по каким причинам отказано: "Выезд нецелесообразен", "Режимные соображения" — туман какой-то, издевательство; скольких посадили в лагеря, довели до инфаркта. В Виннице судят инженера, фамилия его Школьник; сперва его обвиняли в том, что он английский шпион, потом, когда в Англии начался скандал, переменили песню: "Шпион в пользу Израиля". В Минске каждый день таскают в КГБ полковника Давидовича, полковник захотел в Израиль. Больной человек, давно в отставке... В Свердловске судят учителя: сионист. В Перми разыграли процесс против портного. Да у нас в Риге было три "дела": Кузнецова судили в Ленинграде, а группу

якобы его сообщников — у нас, потом судили Рут Александрович, за "распространение самодельной газеты на языке иврит". Я когда нес документы в ОВИР, не знал, выпустят или посадят.

— Остановить хотят. Если всем, кто попросит, давать разрешения, считай, половина евреев убежит. А что скажут латыши или литовцы? Мы-то чем хуже?

— Половина не уедет. Даже если бы хотели. Люди живут в стране в десятом и двадцатом поколении, я видел в Бердичеве еврейское кладбище, там есть на могилах камни 1450 года. Тысячи и десятки тысяч не могут ехать, потому что не в состоянии оплатить дипломы, потому что не вынесут дорогу, потому что у них старые, больные родители, которых они не бросят. А разве мало евреев, которые и не хотят уехать: им в капиталистическом обществе делать нечего. А сколько тысяч попались, влипли? Страна была заперта, казалось, навеки. Люди искали, как устроить жизнь получше в данных условиях, пробивались в науку, на хорошие должности, а теперь и захотели бы уехать, так они знают, что их при первой же подаче документов упрячут в сумасшедший дом, затравят. Да мало ли причин. И власти наши это прекрасно знают. Трагедия именно в том, что все не могут уехать, но и жить здесь нельзя. При Хрущеве собирали ЦК Латвии, обсуждали вопрос "О засорении кадров евреями", при Косыгине президент Академии Наук СССР Келдыш заявляет: "Нам нужно растить собственные, национальные кадры", а евреи — и не собственные и не национальные кадры, а инородное тело. Зимой 1971 года в Риге было совещание высших чинов КГБ, выступал заместитель министра Союза, он прямо сказал: "Все евреи, начиная Гилельсом и кончая последним сапожником, все не разделяют советскую политику на Ближнем Востоке", все евреи — "Инородное тело в нашем обществе"...

Стасик кивнул:

— Мне маманя говорила, что до войны в Риге были еврейские гимназии, бабку нашу оперировал профессор Минц, в еврейской больнице, самой лучшей больнице. У нас в "Динамо" есть один тренер, так он был чемпионом "Маккаби". Не понимаю, зачем сейчас нет для поляков польских клубов, для евреев — еврейских, для латышей — латышских. Только бы

на пользу пошло советской власти.

— Ты умный парень, Стасик, не мне тебе рассказывать, что наши умы кремлевские сами нанесли такой вред стране, какого не нанес никакой Гитлер.

— Глупости у нас хватает! А что ты хочешь, старики правят, ничего не понимают, что в мире делается. Мой фатер честно признается: "Боюсь! Не понимаю молодежь. Как увижу длинные волосы, на девках брюки, так и кажется, сейчас подойдут и оскорбят. Так и хочется взять палку и бить, чтобы обороняться". А тут огромное государство!

— Слушай, — сказал Миша, — я давно хотел спросить: почему бабка на сыновей пенсию не получает? Что, они у немцев служили, а не в Красной Армии?

— Да нет, не служили они. Мне Гаврил под секретом сообщил: потеряла она их. Голод был у них, на Украине, в 1933. Они лебеду ели, потом столярный клей. Дети совсем в скелеты превратились. Приехала в Кобыляки эта комиссия по борьбе с голодом, стали людям предлагать сдать детей в Харьков, в детский приют. Бабка не хотела, а старик, муж ее, начал кричать: кругом столько детей померло с голоду, все равно хуже не будет. Они и отдали Толю и Ваню в детский приют. Потом, года три наверно прошло, поехали искать детей, и никаких следов. До самой войны искали. Потом бросили. Старуха и помешалась на детях. Раньше все говорила "с японцами бились, на Халхин-Голе", после войны начала говорить, что они с немцами воевали.

— Ужас!

— Стасик! Ты спать пойдешь?

В проходной стояла Варвара, ночной чепец на голове, из-под халата видны пижамные брючки до колен. Глаза злые, подозрительные.

— А?

— Уже двенадцать!

Стасик ушел. Не позволяли ему долго оставаться наедине с Комратом: как бы не наговорил чего, что соседям знать не положено. А может, пошли они с Варварой обсуждать, как устроить переезд, чтобы в новую квартиру не попали бабкины засаленные коврики, родительская трофейная, крашенная ме-

бель 1945 года. А старики уже укладывали сундуки, нафталинили покрывала, не видевшие света никогда, и которым суждено либо затухнуть в сундуках, либо пасть на свалке, когда добром завладеют молодые.

Стасик и Варька думали, как принимать в доме гостей — с музыкой, с современной мебелью; Гаврюха с Язвой думали, как им пристроить на новом месте немецкие тазы с пометкой "Кригсмарине", да чемоданы, с которыми они приехали в Ригу в 1944 году.

— Да мне-то что? — подумал Миша. — По мне, пусть живут, как умеют. Чужая жизнь никогда не была моей заботой, теперь и подавно. Я — за чертой...

## 32.

Он не сказал Стасику, что и его вызывали на беседу в КГБ. Беседа была ненормальная какая-то; следовательно Тарантасов, из отдела борьбы с сионизмом, пригласил Мишу не в огромное здание КГБ на улице Ленина, а в Стрелковый парк, точно любимую на свидание, и сидели они спинами к Молочному ресторану, ворковали.

— Вы нас озадачили, товарищ Комрат! Хороший учитель, способный журналист... Зачем вам Израиль?

— У меня там все родственники.

— Конечно, наша вина. Такой человек, как вы, заслуживал, чтобы ему помогли улучшить квартирные условия. Но из-за квартиры не меняют ведь государство!

— Я еще до войны собирался в Палестину.

— Вы воевали на фронте, кончили советский ВУЗ. Вы должны быть интернационалистом.

— В паспорте у меня написано "еврей".

— Вот я: женат на латышке, сам — русский, дочка замужем за армянином. В Израиле вам все время будут напоминать, что вы из России. Кстати, чем думаете там заниматься?

— Отсюда мне не видно.

— Многие думают, что у нас там нет друзей. Москва, она с длинными руками, товарищ Комрат. Вот восстановят ког-

да-нибудь дипломатические отношения, многие пожалеют, что занимались антисоветской деятельностью.

— Многие, наверно, пожалеют, что занимались антисемитизмом тоже.

Тарантасов расцвел:

— Ах, укололи! Укололи! Один ноль в вашу пользу. Но не надо, не надо хаять Советский Союз, мы вам дали разрешение уехать, в ваших интересах сохранить добрососедские, так сказать, отношения.

— Я к этому стремился все время.

— Э! Вот вы были бы в нашем положении. Человек выступает в печати, у него много учеников. Не-ет, мы не могли вас сразу выпустить. Но теперь вам совсем не об этом надо думать. Вам теперь надо думать, где раздобыть деньги. 12 000, кажется? А вы знакомы с Фелем?

— С Фелем?

— Вижу, что не знакомы. А как Дорошин? Разве он вам не может дать взаймы?

— Дорошин, во-первых, не мой друг, чтобы давать такие деньги, а во-вторых, не думаю, чтоб у него было столько.

— Не ваш друг? А встречались часто. Хотя, может быть, как коллеги. Но у вас есть шурин. Как он относится к отъезду вашей жены?

— Плохо.

— То есть, как плохо? Денег не дает или осуждает?

— Мой шурин не хочет потерять сестру. Вы же знаете: уехать из СССР, все равно, что уйти в иной мир.

— Два ноль! Какой каламбур! Ой-о-ой, товарищ Комрат, я бы на вашем месте не разбрасывался каламбурами, а то как бы мы не пожалели, что разрешаем такому остроумному человеку уезжать. Кстати, в русской израильской газете работает некто Валк. Кажется, вы с ним знакомы?

— Я уже сказал, я не собираюсь работать в Израиле в газете.

— А зачем к вам приходила Шнеерсон?

— Кто, Аня? Разве приходила? Мы с ними никогда не были дружны.

— Видите, вы даже не знаете, кого приводит домой ваша жена. Я бы хотел предостеречь вас; некоторые евреи полагают,

что мы не знаем, каким путем они передают на Запад клевету на Советский Союз. Вы знаете Штукмахера?

— Портного?

— Нет, инженера.

— Не знаком.

— Трудный вы человек, товарищ Комрат. Я вам протягиваю руку, вы ее отвергаете. Хорошо, не стану отнимать ваше время. У вас своих забот много. Но помните, что я говорил. По-дружески.

А что он говорил? О чем? Допытывался, с кем Миша дружит? Хотел узнать, кто из рижских "отказников" пытается передать с Мишей призыв к спасению? Старался замарать уезжающего, чтобы по городу поползло: "А Комрат-то с Тарантасовым в парке сидел?.."

С них могло стать все. Кауфбайрингская калитка. Мише рассказывали об одном человеке, брат которого сидел в тюрьме в Казахстане, за воровство, кажется. Человек этот подал документы на отъезд в Израиль. Его вызвали в КГБ и говорят: "Если вы хотите, чтобы ваш брат вернулся из тюрьмы по отбытию срока, можете ехать, но вы обязаны нам присылать из Израиля письма с описанием, как плохо там жить". Другого человека вызвали в КГБ, держали шесть часов без воды и еды, и никто не явился к нему в комнату. А потом пришел солдат и сказал, что произошла ошибка, его вызвали вместо другого и назвал фамилию того другого, активиста алии, боровшегося на протяжении пяти лет за свое право уехать из СССР.

Сотни людей проходили в Бресте и Чопе таможенный досмотр; проверяли их чемоданы, заглядывали в карманы вещей, уложенных в чемоданы, и внезапно сто первую семью раздевали догола, женщин вели на гинекологический осмотр.

В Шереметьево, в международном аэропорту, таможенники были вежливы: вежливо возвращали провожающим вещи эмигрантов, не подлежащие вывозу, вежливо копались в чемоданах эмигрантов, и бац — неожиданно — у кого-нибудь срывали с пальца кольцо, выворачивали карманы, рвали фотографии...

Зачем Тарантасов спрашивал об этом инженере Штукмахере?

Предлагал Мише стать доносчиком, а КГБ тогда заплатит за него выкуп за дипломы?

Противно было это, гадко, низко и страшно, потому что принадлежало к арсеналу 1937 года, пахло кострами в тайге и Магаданом.

33.

— Ты не спишь?

— Знаешь, о чем я думаю? — спросила Хана. — Представь себе, что все шесть миллионов евреев, живущих в Америке, все три миллиона из Советского Союза, другие из других стран, все они съезжаются в Израиль. Какая концентрация умов! Ты подумай, лучшие песни в Советском Союзе сочинили евреи: Френкель, Фрадкин, Островский, Дунаевский... Лучшие физики в мире — евреи: Ландау, Векслер, Теллер, Оппенгеймер. Господи, зачем наш народ учится, страдает, потом и кровью пробивает новые дороги науке в чужих странах, когда у нас есть своя страна? Я вчера нашла старую книжку, на самом низу шкафа, "Жизнь замечательных людей" — про Подвойского. И я себя спросила: разве народ знает, сколько евреев умерло на каторге, чтобы в России сделать революцию? Вокруг Ленина было столько евреев! Луначарский, Троцкий, Мартов, Богданов, Свердлов, Дейч; есть десятки имен, которые и не звучат по-еврейски, и мы думаем, что они были русские, а найдешь книжку, а в ней написано: евреи. Ты подумаешь, если бы эти люди, революционеры, умирали не за Россию, а за еврейское государство! Если бы наша кровь проливалась не в концлагерях в чужих странах, а на полях сражений с врагами Израиля, какую сильную мы имели бы державу! Разве кто-нибудь смел бы тогда уничтожать нас, точно крыс, унижать, сажать в тюрьму, потому что мы хотим уехать в свою страну? Мне кто-то рассказывал, что во время Первой мировой войны на поле, ночью после сражения столкнулись двое раненых, каждый полз к себе в тыл, и оба оказались евреями: один в английской армии, второй в немецкой... Боже, как это страшно!

— Спи! — попросил Миша. — Тебе завтра на работу.

...Ее слова разбередили в нем такую рану, думать о которой он не хотел годами, потому что думая о ней, ощущая ее в себе, содрогался весь от ужаса, словно в колодезь заглянул, а там не вода — кровь.

Это произошло на пятый день боев за Белгород, летом 1943 года. Днем он бежал за наступающими танками, прятался в воронках, наспех перевязал руку, оцарапанную осколком снаряда, и снова бежал, стрелял, потеряв счет времени и усталости, а под вечер, когда солнце ушло за холм, его настиг немецкий снаряд, и все заволжлось туманом.

Когда Миша очнулся, накрапывал мелкий, настырный дождь, он, очевидно, и привел контуженного в чувство. Миша открыл глаза, в лицо смотрели звезды. Миша знал, что уже видел их, и не однажды, но совершенно не понимал, что это и зачем они. Над ним простиралось небо, темное по краям, светлое над головой, но Миша не мог вспомнить, что это и почему оно над ним. Он не ощущал своего тела, только чувствовал, что под спиною холодно, а в лицо падает что-то мокрое, неприятное, заставляя закрывать глаза.

Он лежал долго, понимая, что с ним что-то произошло и что его нынешнее состояние отличается от всех прежних, но слов для определения своего положения не находил. У него, вероятно, вообще не осталось слов для чего-нибудь, он воспринимал мир вещественно, в его жесткой реальности, данной человеку в ощущениях, видел явления природы, как видит их лошадь или собака. Но время шло, и постепенно являлись слова, короткие, странные, как запах акации после зимы:

— Дождь. Ночь.

— Яранен! — слитно сказал Миша. — Ранен? Кто?

Он высвободил руку, обшарил грудь, ноги, попробовал перевернуться животом вниз — нигде ничего не болело. Он сел, потом попробовал встать, но упал. Тошнило, кружилась голова.

— Контужен! — вспомнил Миша. — Я контужен.

Он слышал от других, как это бывает, даже знал, что при контузиях надо лежать, не двигаясь, но лежать значило застыть, и он пополз.

Руки его и лицо ощущали мокрую траву, затем началась

полоса липкой земли, и сразу же, невдалеке небо закрыл силуэт танка Т-34 с задранной пушкой. Метрах в пяти позади танка Миша наткнулся на закоченевший труп в комбинезоне, второй танкист лежал чуть дальше, голова его свешивалась в рытвину, проложенную их же машиной в мягкой почве луга.

Миша прополз мимо множества танков, советских и немецких; некоторые еще догорали, из башен и люков плыл розовый дым, издававший острый запах жженой резины. Догорающие танки Миша оползал стороной: он знал, что иногда на поле отгремевшего боя прячутся мародеры; бывает, что по нему ползет раненый с автоматом впереди себя — оглушенный и настороженный. В полосах света, образуемых догорающими танками, каждый предмет становился отлично видимой мишенью.

Один из догоравших танков внезапно озарился мощным всполохом; фонтан рыжих, зеленых, красных искр взметнулся вверх над башней, она повернулась, потом отделилась, поднялась и улетела. Было красиво и жутко, как бывало в те редкие ночи мая, когда над Рижским заливом переливалось Северное сияние, но грохота Миша не слышал. Он ощутил звук руками, телом, соприкасающимся с землей, но не ушами. Взрывная волна обдала его, дыхнула горячим смрадом. Звук появился позже, слабый, как в телефонной трубке, если говорить с очень далеким собеседником по полевому аппарату.

— Я оглох, — понял Миша. Удивления, испуга или других чувств не было. Он был весь — целиком — поглощен передвижением на четвереньках, другого не было дано.

Он двигался на запад, в ту сторону, куда переместился фронт, где полыхали огни взрывов, где горизонт ежеминутно подергивало зарницами. Чем ближе к передовой полз Миша, тем больше у него было шансов встретить своих, которые доставят его в медсанбат.

Уже светало, когда он увидел на фоне красного неба черный,двигающийся крест: кто-то шел по вытопанному пшеничному полю, раскинув руки, покачиваясь пьяно из стороны в сторону. На человеке том были широкие штаны, заправленные в короткие сапоги, и Миша понял — немец.

— Хальт! — закричал Комрат. — Хенде хох!

У него не было оружия, только граната, привешенная к поясу, и он решил, что если немец попытается брать его в плен, то он подорвет себя и врага. Но немец тоже был безоружен. Они сошлись близко. На немце была рваная куртка, какого-то ненемецкого, желтого цвета, с ненемецкими, треугольными погонами, и над кармашком куртки не было у него орла со свастикой.

— Хальт! — повторил Миша, слабо различая собственный голос, доносившийся к нему, словно через стену. — Италиано? Руманешти?

Он хотел знать, кто этот человек, потому что он мог оказаться и своим — то ли чехом, то ли поляком: по дивизии ходили слухи о чешских и польских частях, сражавшихся где-то рядом. А еще говорили о французских летчиках, воюющих на советской стороне, и этот человек мог оказаться французом, сбитым над полем боя. Но Миша не знал, как спросить "француз?" и повторил:

— Италиано? Чех?

— Найд, — сказал тот. — Niemand bin Ich Ein Nichts.

— Ду бист айн дойч! — обрадовался Миша. — Дойч! Я тебе покажу "нихтс", сволочь! Хенде хох! Ду бист гефанген!

Но тот руки не поднял, а дико как-то, неожиданно, с печалью и издевкой рассмеялся, и, утирая слезы, на обычном идиш спросил:

— Ир зайт а ид? Их хер, а ид! Фун ванен?

— Фун Риге! — ответил Миша, ошарашенный необычностью ситуации.

И тогда тот еще громче и еще горше рассмеялся и протянул руки, куда-то мимо Миши, шарил по-слепому в воздухе и звал:

— Зетцт мир авэк, зетцт мир авэк, их халэш.

Неподалеку валялся разбитый ящик, Комрат подвинул ящик, посадил того человека и, не зная, как быть, что делать, сам чувствуя, что "халэш", падает в обморок, переминался перед тем, сидящим, с вытекшими глазами и смехом сумасшедшего.

— Два еврея на чужой войне! Я был в Палестине, был...

Миша едва слышал его, но теперь хотел знать, как можно



больше, и потому сел впереди пленника на землю и громко, настойчиво попросил:

— Говорите! Говорите! Я плохо слышу.

— Я — слепой, а вы глухой! — хохотал тот. — Мы были все слепые и глухие. Я был в Палестине, я убежал домой, в Будапешт. Почта шла слишком долго в Палестину, жарко там было, квартиры стоили дорого... Теперь я плачу дешевле — всего лишь мои глаза... Евреи, проклятый богом народ!

— Проклятые?

— Избранные, проклятые — все равно. Маркс, Исус, Кант, Фрейд, Эйнштейн... Разве стоило отдавать силы, ум, слезы чужим? Родина... Ах, у всех у нас была родина — у кого Россия, у кого Австрия. И всюду мы были и есть жида.

Миша скорее догадывался, чем слышал, понимал и не хотел соглашаться с тем, что слышал:

— Сталин воюет против Гитлера, это война и за евреев!

— Да, да... два диктатора, концлагери и тирания; те уже убивают нас, те будут убивать... Евреи строили Рим, римляне убили своих евреев. Евреи воевали за Испанию против сарацин, испанцы убили своих евреев. Мой отец получил два Железных креста в боях за Вильгельма в ту войну, он был под Верденом и на Марне, в прошлом году его убили в Терезине.

— Пошли! — попросил Миша. — Надо в медсанбат. Мы ранены.

— Не води меня никуда, прошу! Убей меня. Пускай меня убьет свой, еврей и прочитает кадиш...

— Не говори глупостей.

— А зачем жить? Без глаз? Для русских — я немец. Для немцев — жид. После войны я умру с голоду. Жид, потерявший глаза за Германию?

— Пойдем, пойдем! — просил Миша. — Уже светло.

— Убей меня и прочитай кадиш.

— Я не могу убить тебя. Ты сам знаешь.

— Тогда брось. Пусть убьет гой. Они не такие неженки.

Он схватился руками за голову, закачался из стороны в сторону, смеялся и плакал кровавыми, красными слезами:

— Я был социал-демократом! Я сидел в тюрьме! Я потратил шестьдесят тысяч, чтобы учредить газету: звать венгров к величию нации, к добру и справедливости. Боже, сколько нас, идиотов, вкладывали годы и деньги, просвещали и облагораживали чужие народы, думая, что это наши народы! Я любил Будапешт, я говорил: "Это — моя родина! Это — мои реки и мои леса! Наша семья живет тут с тех времен, когда испанцы выгнали уцелевших евреев". И знаешь, что ответил мне один хороший, умный венгр? Он был моим другом, у нас был один котелок на двоих. Он мне сказал: "Ты извини, но вам надо знать правду. Даже самый прогрессивный гой думает об евреях, что вы, как вши на чужом теле. Может быть и даже наверно вше нравится ее место, она любит спину, на которой живет, но для нас вы — насекомые, всегда виноватые... Когда у вас будет своя земля и своя страна, мы будем смотреть на вас как на народ, а до тех пор вы только паразиты. Когда нам, гоим, хорошо, мы скрываем наши мысли о вас, когда нам плохо, мы давим вас, чтобы отвести душу. Не говори никогда гоим, как ты любишь их страну, ее леса, ее поля — для нас вы воры, посягающие своей любовью на чужое!"

Несчастный говорил и говорил, сыпал словами, хохотал и плакал; может быть, не все он говорил так, как запомнил Миша, может быть, он пользовался другими словами, но такие же мысли вызревали у Миши давно, они были в нем всегда, с

тех пор, как он начал понимать свою отчужденность среди латышей и русских, и сейчас, на поле битвы, в сумасшедшем пейзаже, слова сумасшедшего становились его — Мишиными — собственными словами:

— А Палестина пустует! В Иерусалиме не наберешь и 50 000 евреев! Мы всюду — только не на своей земле. Одни носятся с идеями об Уганде, другие — с Мадагаскаром, третьи вопят "Биробиджан!" ...Мы воюем, мы строим дома и фабрики, где угодно, только не дома, на развалинах Храма! Одному жарко, другому не нравятся апельсины, третий не находит бизнеса... Глупцы! Разве жизнь дешевле денег?! Я был, был в Палестине, я убежал! Шма Исраэль, адонай элогейну, адонай ахад! Барух шэм квод малхуто лаолам вазд!

Он вскочил и пошел по полю, качаясь и выкрикивая слова молитвы.

— Куда вы?! Там опасно! Миша бросился за ним, а тот уже был шагах в пятидесяти, наступил на бугорок и растворился в дыме и огне.

Взрыв мины всколыхнул воздух, полоснул Мишу по груди ножом; падая, он еще успел увидеть солнце, оно поднималось за немецким танком — блеклое солнце войны среди окрашенных дымом облаков.

## 34.

Утром Миша поехал к Розе в Межапарк. Вообще-то комната ее была на улице Петра Стучки, бывшей Тербатас, то есть Дерптской, в солидном доме с дубовыми панелями на лестнице и витражами, половину которых выбили мальчишки. Но дом уже около года стоял на капитальном ремонте, жильцов переселили в "обменные дома", кого куда: Роза попала в Межапарк.

Она жила теперь в комнате с окном во всю стену, перед окном качалась сосна, к сосне был привязан скворечник. В комнате было нагромождено, как на складе после ревизии. Роза Израилевна сидела на диване в халате, с полсигаретой во рту, что-то переписывала из старой книги в блокнот.

— А, Мишенька! Садитесь, милый. Скажите мне, что такое "танин"?

— Крокодил.

— А "шэжел вапэтен"?

— Гадюка и шакал.

— Я правильно перевела?

Она дала Мише блокнот. Там русскими буквами была написана молитва, которую Миша выучил ребенком, повторял в детстве на ночь:

"Ал тифхад! Шэжел вапэтен тидрох, кфир ветанин тирмос, ки бы хашак вафалтегу, ашагвегу, ки яда шми, икраени васенегу микол раа ацилегу ки ани адонай элохеха".

"Не бойся! Будешь ступать по трупам шакалов и гадюк, подминать львов и крокодилов, потому что ты стремился ко мне, и я помогу тебе, вызволю тебя, ибо ты узнал мое имя, позовешь меня, и я отзовусь, потому что я — твой бог".

— Хватит! — сказала Роза. — Хватит нам играть в умников. Целый свет признает бога, одни мы умнее всех, у нас Маркс и Энгельс. Дождик пошел — это Маркс послал, снег идет — спасибо Энгельсу. Я звонила одной подруге, она мне немного обязана, она даст для вас 2000 рублей.

— Неужели мы в самом деле уедем отсюда?! — спросил Миша, с нежностью и уважением обнимая тетю Розу.

— Мишенька, я еще ничего не знаю, ничего не решила, но... Вы мне пришлете вызов, если я решусь?

...На улице, около трамвайной остановки Мишу остановил кто-то в плаще и шляпе:

— Пройдемте!

— Никуда я не пойду! Я вас не знаю.

— Пройдемте!

Он схватил Мишу железной рукой и потащил в переулок, где под тихими деревьями с легким снежком стоял автомобиль, а из автомобиля приветливо выглядывал товарищ Тарантасов.

И тогда всколыхнулось в Мише, сгущаясь ударило в сердце страшное отвращение, гадливость и ненависть, чувства испытанные им только однажды до того — на станции Разуваево, когда немец с пропотевшей шеей, гнавший колонну пленных,

расстегнул при них штаны, словно и не людей он вел, уверенный в том, что ему все позволено. И показалось — на одно лицо они: тот немец и этот кагэбешник. Та же сытая ухмылка, то же ехидное созерцание беспомощности жертвы, та же готовность убивать; с радостью и сознанием исполненного долга следовать приказам "свыше", потому что приказы эти совпадали с душевной склонностью исполнителей, потому что власть над жизнью и смертью обреченных казалась им достойным вознаграждением за принадлежность к расе избранных. Немец упивался своим всесиличием над жидами потому, что был арийцем, кагэбешник — потому, что блистал истинно пролетарской биографией и партийным стажем. Немцу было обещано 40 гектаров русской земли за Поход на Восток, немцу было позволено "снабжаться собственными силами на местах" в течение трех дней после взятия местности. Кагэбешнику были отворены склады спецмагазинов, наполненных импортным добром, для него каждый год стелили чистую постель в крымском или кавказском санатории. Разница состояла в том, что немец упивался властью в войну, когда Германия шла от победы к победе и некогда было в треске барабанов послушать свою совесть, задуматься.

А КПСС давно уже превратилась в посмешище дома и за рубежом, и если немец мог говорить, что творит зло, не ведая, что творит, то офицер КГБ прекрасно отдавал себе отчет в своих поступках. Немец, наверное, и не имел образования, чтобы заглядывать в историю и сопоставлять; офицер, тащивший Мишу, как минимум, закончил обязательных 10 классов средней школы плюс военное училище и он знал кому служит и почему.

И когда мысли эти клубком свились в мозгу, и нервная дрожь полоснула по сердцу, Миша Комрат, ненавидевший драки и насилие, размахнулся и ударил кулаком в лицо своего насильника.

Свет померк в его глазах, ножевая боль пронзила сердце, и он рухнул на мостовую, чуть присыпанную жестким снежком.

Он плохо различал лицо Тарантасова, набежавших зевак, крики, машину Скорой помощи.

Последнее, что увидел в своей жизни Миша Комрат, был

красный флаг над тюрьмой "Браса". Тюрьма, как и весь Советский Союз, готовилась отмечать 55 лет Октябрьской революции.

"Красный флаг над тюрьмой" был написан в Риге, летом 1972 года. Получив разрешение выехать в Израиль, я выучил рукопись (насколько было возможно) наизусть и сжег. Не было никаких надежд пройти таможенный досмотр с таким "багажом".

В октябре 1972 года я восстановил рукопись по памяти и отдал ее покойнице "Трибуне", где роман печатался в продолжениях до весны.

Утекло много воды, прежде чем нашлось издательство, готовое выпустить "Красный флаг" отдельной книгой. Я не считал себя вправе вносить в рукопись какие-либо изменения, руководствуясь задним умом.

Автор

